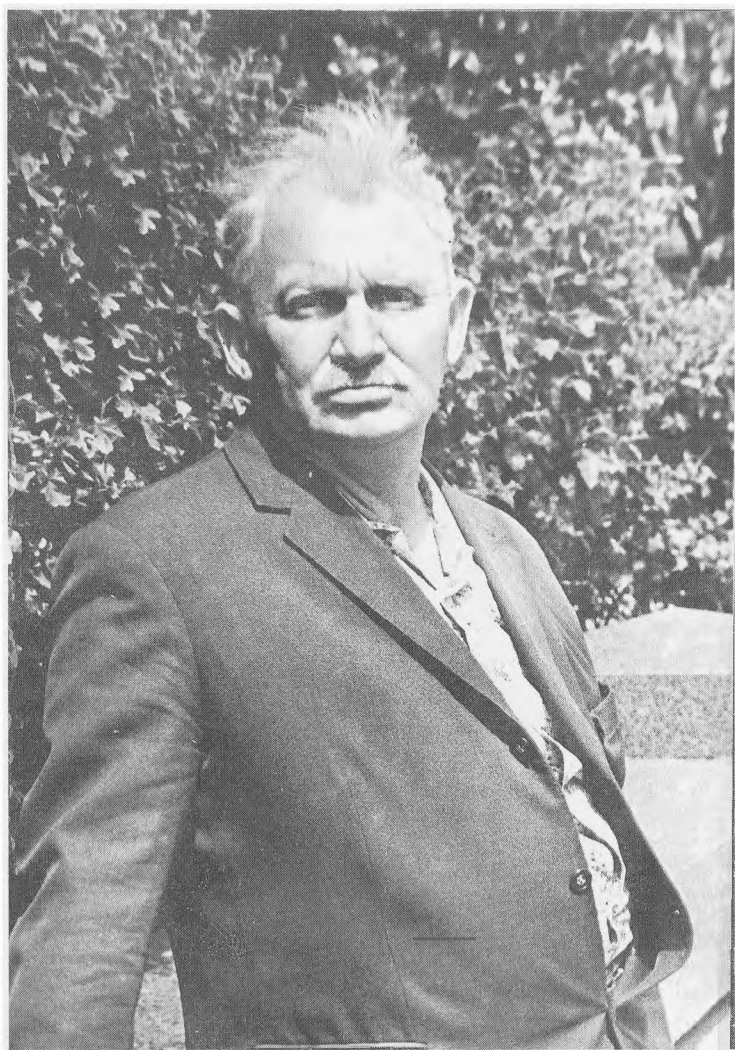


1

БОРИС СЛУЦКИЙ

БОРИС
СЛУЦКИЙ

1



*БОРИС
СЛУЦКИЙ*

БОРИС СЛУЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

БОРИС СЛУЦКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1939·1961



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1991

ББК 84Р7
С49

Вступительная статья,
составление с научной подготовкой текста,
комментарии
Ю. Болдырева

Оформление художника
М. Шлосберга

С 4702010202-153 Подписное
028(01)-91

ISBN 5-280-01614-4 (Т. I).
ISBN 5-280-01615-2

© Вступительная статья,
составление с научной
подготовкой текста,
комментарии. Болдырев Ю. Л.,
1991.

«ВЫДАЮ СЕБЯ ЗА САМОГО СЕБЯ...»

«Выдаю себя за самого себя», «Черным черное именую. Белым — белое», «Фактовик, натуралист, эмпирик, а не беспардонный лирик! Малое знаточество свое не сменяю на вранье». Простые, немудрящие принципы, почти всем известные с детства, сердечного жара и душевного взлета вызвать вроде бы не могущие. Приличествующие бухгалтеру, штабисту, ревизору, конторскому клерку, конечно, статистику, но уже из журналистов — разве что репортеру, хроникеру. О поэте не подумаешь даже в последнюю очередь — для вольной ли птицы эта оснастка? К эстетике все это если и имеет отношение, то отдаленное, опосредованное. Этим — этика ведает, это — из ее епархии.

Но в том-то и дело, что в явлении, именуемом Борис Слуцкий, этика была теснейшим образом сплавлена с эстетикой, вплавлена в нее, людской характер был напрямую соединен с характером стихового письма, бытовое поведение — с творческим. Между человеком и поэтом, между поэтом и человеком, казалось, не было (а может, и действительно не было) люфтов, зазоров.

Продолжим четверостишие, первая строка которого вынесена в заголовок настоящей статьи: «...и кажусь примерно самим собой. Это было привычкой моей всегда, постепенно стало моей судьбой». Конечно, судьба, как и творческий метод, складывается из многих компонентов, в ее создании на равных или на разных условиях участвуют и сам человек, и пространство (среда), и время (исторические обстоятельства). И все же фундаментом этой судьбы стало стремление к внутренней и внешней правде, может быть, порой и ослаблявшее поводья, но зато в другую пору бешено натягивавшее их.

1

Борис Абрамович Слуцкий родился 7 мая 1919 года в небольшом украинском городке Славянске (сейчас это — север Донецкой области). Через полтора года после Октябрьской революции, под грохот гражданской войны. Он был первенцем у своих уже не пер-

вой молодости родителей: отцу было 33 года, матери — 28. Наверное, он думал и о ней, когда писал в стихотворении «Матери с младенцами»: «Беременели и несли, влачили бремя сквозь все страдания земли в лихое время и в неплохие времена и только спрашивали тихо: добро ли сверху или лихо? Что в мире, мир или война?» Отец — Абрам Наумович — имел невеликое образование и до революции и после нее работал в торговле, был основным кормильцем; мать — Александра Абрамовна — в свое время кончила гимназию, была равнодушна к поэзии, любила и знала музыку, даже порой преподавала ее. В 1922 году, когда Борису было три года, семья Слуцких, к тому времени пополнившаяся еще одним ребенком, переезжает в Харьков.

Харьков, бурный послереволюционный Харьков, тогдашняя столица Украинской республики, крупный промышленный, литературный, научный, театральный центр, очень много значил в становлении человека, а в конечном счете и поэта Бориса Слуцкого, хотя писать он начал поздно и как поэт сформировался уже в Москве. И первое, что вдохнул в него этот ставший ему родным город (курортный Славянск, куда часто ездили к родителям матери, родиной был формально), — был демократизм. Семья поселилась в пролетарском районе, в убогом коммунальном доме в районе Конного базара. В трех харьковских школах, в которых учился Слуцкий, за партами восседали вместе дети рабочих и нэпманов, совслужащих и священников, потихоньку тикавших в город селян и интеллигентов, сплошь и рядом тогда еще «буржуазных». В кружках харьковского Дворца пионеров — лучшего и знаменитого в стране — можно было встретить и дочь народного комиссара, и профессорского сына, и отпрысков люмпен-пролетария, какого-нибудь загульного пьяницы. Родители могли не знать друг друга или презрительно относиться семья к семье, а дети варились в этом кипучем демократическом котле, перенимая у сверстников и буржуазные манеры, и пролетарские ухватки, и деревенские обычаи. И хоть классовые принципы никуда не исчезли, они главенствовали в стране повсюду — от вуза до литкружка, — среди детей они поневоле мягчели и смазывались. Общие интересы, возникающие у детей, подростков и юношей, смывали, опрокидывали социальные и идеологические перегородки (о национальных и говорить нечего, их, похоже, в то время не существовало). Так жгучий, всепоглощающий интерес к стихам, к русской — прежде всего, — украинской и мировой поэзии свел сына еврея, советского служащего Борю Слуцкого с сыном русского гвардейского офицера, поэта, автора книг об офицерской и дворянской чести Мишей Кульчицким в тесной, год от года крепнущей дружбе, так много значившей для того и другого, так много давшей тому и другому.

Если хоть на мгновение остановиться и углубиться в этот вопрос: что дала эта дружба Слуцкому? — то кроме враз видимой, лежащей

на поверхности учебы у Кульчицкого, уже к моменту их встречи в литературном кружке Дворца пионеров взалхлеб писавшего стихи (Слуцкий-то к тому времени был лишь их завятым читателем), вдохновенно и упорно работавшего над каждой строкой, кроме пришедшего тогда понимания, что поэзия — это не редкие всплески вдохновения, а постоянный, упрямый, необходимый труд, был тут и еще один момент, имевший прямое отношение к демократизму и к тому милосердному вниманию к человеку, которым впоследствии будет просквожено все творчество Слуцкого. Мы по привычке, привитой нам прошлым веком, его литературой, ее все возрастающим народолюбием, незаметно для себя в понятие «демократизм» вкладываем участие и заботу о тех, кто находится ниже нас на социальной или общественной лестнице. Но XX век в нашей стране перевернул пирамиду человеческих отношений, складывавшуюся столетиями: верхи и низы поменялись местами. Ненависть к «бывшим», дополнительно распаленная гражданской войной, гуляла в победившем народе; отдельные очаги милосердия к побежденным гасились официальной агитацией и пропагандой, для которой слово «гуманизм» было ругательным.

Именно в доме Кульчицких активный пионер (см. стихотворение «Председатель класса»), неистовый комсомолец Борис Слуцкий соприкоснулся с «бывшими» и побежденными. О. В. Кульчицкая, сестра Миши, вспоминает: «Он часто приходил к нам, вернее, к брату... Другие ребята запросто, иногда шумно, проходили в комнату к Мише. Борис же задерживался, обязательно здоровался со всеми домашними. Наш отец, Валентин Михайлович, если бывал дома, беседовал с Борисом, задавал ему вопросы, заинтересованно выслушивал все, что отвечал Борис». Из других источников — хотя бы стихотворение «Любовь к старикам» — явствует, что и Борис расспрашивал старшего Кульчицкого, что интерес был обоюдным. Именно здесь-то и возникало просто сочувствие к просто человеку, сминавшее и сминавшее расхожие классовые штампы, заставлявшее уже тогда мальчишку Слуцкого внимательно вглядываться в своих юных и старших современников и сказавшееся позже в таких, скажем, стихотворениях, как «Старухи в окне», «Старые офицеры», «Немецкие потери» и в его кардинальном мировоззренческом повороте, происходившем во второй половине 60-х и в 70-е годы.

Второе, чем Слуцкий во многом обязан Харьковцу, был русский язык, вернее, то острое ощущение русского языка, которое он пронес через всю жизнь. Многоязычие этого восточнoукраинского города, его языковой демократизм, о котором сам Слуцкий впоследствии ярко рассказал в стихотворении «Как говорили на Конном базаре?..». Русский язык был в Харькове своим наравне с украинским (издавна Харьков почитался едва ли не самым «русским» городом на Украине), он перемешивался не только с украинским, но и с еврейским,

немецким (на Украине было много немецких поселений), армянским, греческим, он варился и вываривался в этом странном соусе, менялся, развивался, в общем жил живой, быстрой и наглядной жизнью. Живи Слуцкий в Великороссии, где историческое движение русского языка спокойнее, величавее и незаметнее, возможно, он и не заметил бы этих процессов, не увидел текучести, изменчивости, даже взрывчатости речи, и его собственный поэтический язык был бы более сглаженным, обычным и, если так можно сказать, ожидаемым.

«Отец заповедал правила, но мать завещала гены...» Эти два человека, как и положено, сыграли свою немалую роль в его становлении. От матери исходило дуновение прекрасного — стихи и музыка (несмотря на тесноту и убогость жилья, в нем стояло и звучало пианино). Мать была постоянно заряжена кипучей и беспокойной настойчивостью в том, чтобы дети получили образование, причем не только формальное (и первенцу этого кипения и беспокойства перепало больше, чем остальным: уроки древнееврейского языка, даваемые кем-то из родичей, достались только ему одному — видимо, позже мать сообразила, что эти знания не очень сгодятся детям в предстоящей им жизни). Несмотря на почти что нищету, в которой жила семья, к двум мальчишкам приходил отличный учитель английского языка. Кроме обычной школы, мальчишки были понуждаемы к занятиям в музыкальной: Борис бросил ее после 5-го класса («Я не давался музыке. Я знал, что музыка моя — совсем другая...»), Ефим прошел курс до конца. Все трое детей Слуцких (уже в Харькове к братьям добавилась сестра — Мария) получили высшее образование.

Настойчивость матери в этом отношении была необходима еще и потому, что ей приходилось убеждать отца. Он не то чтобы очень сопротивлялся образованию детей, но в нужности его убежден не был. Хорошая профессия, честный, упорный труд и порядочный заработок, достаточный для содержания семьи, нужны человеку, считал он, а добиться этого можно и без лишней учебы. Он-то добился, а ведь как он любил говорить: «Я все институты прошел... мимо». И мать преодолевала и преодолела это пассивное сопротивление.

Но отец вколачивал в детей (а в случае проступков — и в буквальном смысле) железные и прямые, как гвозди, этические заповеди. Вот одна из них, запомненная младшим братом: «Никогда не надо делать то, что нельзя делать». Нетрудно догадаться, что и остальные были такими же простыми и ясными: о необходимости труда, исполнения обязанностей, честности перед людьми и перед собой, уважении к законам и к старшим и т. п. Заповеди были суровы и справедливы — Борис Слуцкий пронес их через всю жизнь.

Семья жила, как почти все семьи в 20—30-е годы, нуждой и надеждами, постоянным трудом и пока еще неизбывной, даже укрепляющейся верой. Собственно, родителей дети видели мало — те все

время были заняты добыванием хлеба насущного. Вела дом и детей женщина, прибывшая к Слуцким еще в Славянске. Как ни странно, трудно определить и как ее называть, и как определить ее положение в доме. От рождения она была Марией Тимофеевной Литвиновой. Долгие годы она была экономкой у одинокого начальника славянской почты, который переименовал ее в Ольгу Николаевну и, оформив брак с ней незадолго до своей смерти, дал ей фамилию Фабер. То ли революция, то ли иные обстоятельства лишили ее дома и прочего имущества, оставшегося ей после хозяина и мужа, и она осела в семье Слуцких. Взрослые называли ее Ольгой Николаевной, дети — Аней (так ее, требуя утешения, назвал некогда совсем маленький Борис, так оно и пошло). Формально она была домработницей, но с какого-то времени отказалась от какой-либо платы, став просто-напросто членом семьи.

Родителей дети уважали, ценили, страшились, Аню бурно и тихо любили. Она их кормила, мыла, обстирывала, обшивала, собирала в школу, встречала из школы, ночевала с ними в одной из двух комнат квартиры. И, вовсе не помышляя об этом, давала им уроки активной доброты, деятельного участия в чужой судьбе, постоянного, незаметного жизненного подвига. Любимцем ее был Борис — он тоже в ней души не чаял. И ее внесловесные заветы тоже сохранились и обрели новую жизнь и в его человеческом поведении, и в его творчестве.

Говоря о людях, имевших влияние на духовное развитие юного Слуцкого, нельзя еще раз не упомянуть друга-поэта Михаила Кульчицкого и его отца, в ту пору харьковского адвоката Валентина Михайловича Кульчицкого.

Не меньшее влияние имели книги. И тогда, и позже, и всю жизнь Слуцкий читал много и многое. Но главных, всегдашних интересов было два: русская литература (не только поэзия, хотя поэзия, конечно, первенствовала) и история (здесь на острие внимания были революции и прежде всего Великая французская революция и русское революционное движение — от восстания декабристов до Октябрьского переворота).

«Первыми стихами в моей жизни были Михаил Илларионович Михайлов — три томика, подаренные маминной подругой, и Маяковский в дешевом издании, однотомничек, страниц на четыреста. А все остальное, например, Пушкин и особенно Лермонтов, очень долго казалось мне отклонениями от настоящей поэзии». Конечно, знакомство с Кульчицким, который, как вспоминает Слуцкий, «русскую, украинскую, несколько европейских поэзий знал, как знал свои Померки» (район Харькова), и «переводил (упражнения ради) стихи Жуковского на язык Маяковского», наверняка внесло сильные коррективы в предпочтения молодого Бориса. Все же то, что вначале было слово революционных по духу поэтов Михайлова и Маяков-

ского, да и то, что для Кульчицкого, Слуцкого, их товарищей по харьковским литкружкам поэтической «родиной, отечеством» были футуристы, долго сказывалось в творчестве Слуцкого и, пожалуй, в каком-то смысле никогда не ушло из него, из состава его души и стихов, как бы ни менялись позже литературные и общественные пристрастия поэта. Как навсегда остался в нем интерес к истории.

Собственно, интересом это можно было назвать только в детстве и отрочестве, когда, как вспоминают сверстники, уже у четвероклассника Бориса Слуцкого можно было под мышкой увидеть толстые исторические тома, а семиклассником в ответ на просьбу нового учителя истории назвать известные ему революции он назвал сорок три и заявил, что может назвать еще столько же, что навсегда его с этим учителем посорило. Чем дальше, тем сильнее этот интерес перерастал в причастность, в ощущение каждого проживаемого им, Борисом Слуцким, его страной и народом дня, месяца, года звеном длинной исторической цепи, исходящей из незапамятного прошлого и уходящей в неведомое будущее, тянущейся от Олеговых походов на Царьград и на хазар до набегов землян в космические пространства.

И если соединить все это: этические постулаты отца, впитанные сыном, любовь к поэзии и к революции, сердечную доброту и твердую волю в исполнении того, что представляется должным, проклевывающийся историзм мышления и пока еще непоколебимую, романтическую, комсомольскую веру в праведность пути, которым идет страна, ведомая уже не вождями, как было в двадцатые, а Вождем, уверенность в равенстве и надежду на братство всех людей и организаторские таланты, восемнадцатилетний возраст и присущую этому возрасту нетерпеливость, а порой и нетерпимость, — перед нами окажется, наверно, схематический, но более или менее верный эскиз портрета окончившего в приснопамятном 1937-м 94-ю харьковскую среднюю школу Бориса Слуцкого. Перед нами будет человек, которого и многие годы спустя то уважительно, то иронически будут называть «комиссаром», «солдатом», даже «попом». Мне же более всего нравится определение, данное его давней знакомой М. И. Файнберг: «харьковский робеспьерист». Много позже о своем тогдашнем состоянии он напишет так:

И медленным казался Пушкин,
И все на свете — нипочем.
А спутник —

он уже запущен.

Где?

В личном космосе,
моем.

И еще:

Было полтора чемодана,
Да, не два, а полтора

Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас...

Это уже он едет из Харькова в Москву. «Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт. Из трех букв его названия меня интересовала только первая. В Москву уехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.»

Через два года обучения юридическим наукам, производимого Слуцким, что называется, без души (он и поступил-то в него по настоянию отца и по совету Валентина Михайловича Кульчицкого), но чин по чину: усваивались курсы, сдавались экзамены, — в московской жизни его произошла большая перемена. Миша Кульчицкий решил бросить Харьковский университет, где раздумали открывать литфак, и перевестись в Литературный институт. Вдвоем они пошли на поиски поэта, который дал бы Кульчицкому рекомендацию для поступления. Снова передам слово Слуцкому: «...мы пошли к Анткольскому. Он выслушал Кульчицкого, изругал его и охотно дал рекомендацию. Потом попросил почитать меня — сопровождающее лицо. Восхвалил и дал рекомендацию. Через сутки я был принят в Литературный институт и целый год подряд гордился тем, что получаю две стипендии — писательскую и юридическую». Забегая немного вперед, тут же скажу, что еще через два года, закончив полный курс обучения в МЮИ, Слуцкий не стал сдавать выпускных экзаменов и получать юридический диплом. В то же время летом и осенью 1941 года в ожидании, когда военкомат удовлетворит его просьбу о призыве в армию, он опрометью — экзамен за экзаменом — закончил Литинститут (вот где сказалось его детское и юношеское многочтение) и успел перед уходом в Действующую армию получить диплом со званием «литератор».

В Литинституте Слуцкий и Кульчицкий оказались в поэтическом семинаре И. Л. Сельвинского и одновременно в компании молодых поэтов, в которую входили учившиеся здесь же, а также в ИФЛИ и университете Павел Коган, Давид Самойлов, Семен Гудзенко, Михаил Львовский, Сергей Наровчатов, Николай Майоров, Михаил Львов, Юрий Окунев, Михаил Луконин, Николай Отрада и к которой были близки Николай Глазков, Ксения Некрасова. Если до этого все литературные общения Слуцкого ограничивались занятиями в литературном кружке МЮИ, руководимого, правда, сподвижником Маяковского по ЛЕФу О. М. Бриком (впрочем, Брика стихотворные опыты Слуцкого, похоже, ни разу не взволновали), но состоявшего из людей, для которых стихи не были делом жизни,

но лишь одним из состояний молодости, да встречами с Кульчицким на каникулах, то теперь он оказался в кипучем кругу сверстников, для которых важнее стихов, поэзии ничего не было. Жизнь сразу изменила цвет и запах, расцвела дружбой, ежедневными встречами, обсуждением написанного тобой и товарищами, стычками с чуть более старшими, но уже всю печатавшимися поэтами поколения и круга «Алигер—Долмат—Симонова», посещением неведомых до того московских квартир и даже салонов. В этом кругу стихи друга подвергались пристрастному профессиональному анализу (критерии были более чем высокими), спуску не давалось никому — тем больше было возможностей для роста мастерства и оснований для упорной, жесткой работы над строкой, строфой, стихотворением или поэмой.

Впрочем, говорили и думали не только о литературе. Жизнь и политика, то, что происходило в стране, и то, что назревало за ее пределами, хочешь не хочешь врвалось в тайные мысли и открытые суждения. Репрессии 30-х годов, недавно прошедшие «моёковские» процессы и будущая война, уже всю шедшая на Западе, да и близости вспыхивавшая то стычкой на озере Хасан, то халхин-гольским сражением, то короткой, но кровавой советско-финской войной, требовали серьезных, нешуточных размышлений. И в МЮИ, и в Литинституте исчезали преподаватели и студенты, с финской кампании не вернулись их товарищи Н. Отрада, А. Копштейн, М. Молочко. Жизнь, в которую они входили, была не просто беспокойной, она была опасной и даже смертельно опасной. Слуцкий позже, вспоминая о полутора десятилетиях с 1937 по 1953 год, не раз приходил к выводу, что он уцелел случайно (ярче всего это сказалось в стихотворении «Ода случаю»). А тогда:

...я конспекты писал,
Винегрет покупал, киселем запивал
И домой возвращался в набитом трамвае,
И серьезные книги читал про Конвент,
И в газетах отыскивал скрытые смыслы,
Постепенно нащупывал верный ответ.

Что же касается войны и даже ее приблизительных сроков, то здесь ответ был найден проще и уверенней: «Недаром за полгода до начала войны мы написали по стиху на смерть друг другу. Это означало, что знали мы...»

А пока — шла жизнь, шло объединение поэтических сил поколения (Слуцкий был как раз одним из закоперщиков этого), поэты кружка начали все чаще выступать по студенческим и иным аудиториям (в том числе и в писательском клубе), искали возможности не поодиночке, а кучно появиться в печати, чтобы заявить о себе как о направлении. Однажды почти повезло: в марте 1941 года журнал «Октябрь» опубликовал подборку «Поэзия студентов Москвы».

Открывалась она (иначе тогда и представить было невозможно) «Стихами о Сталине» Анисима Кронгауза, но это позволило стихам М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, С. Наровчатова, Д. Кауфмана (Самойлова) обойтись без этого имени. Не знаю, насколько эта публикация обрадовала авторов. Во всяком случае, Кульчицкий писал в Харьков Г. Левину: «Как напечатали. Стих Слуцкого без начала, без конца, с переделанной серединой. Моя поэма: из 8 глав пошли 3 куска из трех глав и еще концовка. А с каким шакальим воем все это было, как рубали...» К сожалению, неискаженного, первоначального текста стихотворения Слуцкого «Маяковский на трибуне» обнаружить пока не удалось. И сам возобновлять его публикацию в книгах, вышедших после войны, Слуцкий не стал. Война зачеркнула многое из того, что было написано и продумано.

Впрочем, война многое и продолжила. Если не в писаниях (обычно Слуцкий уверял, что в войну он совсем не писал стихов, однако по некоторым обмолвкам видно, что были недолгие моменты, когда писал: в госпитале, в резерве комсостава, в редкие дни передышек), то в наблюдениях и раздумьях.

В недавно опубликованных военных записках Давид Самойлов пишет, что в первое время войны ему понадобилось много душевной энергии на «избавление от интеллигентской идеи исключительности, то есть о преобладании обязанностей над правами. Для меня необходимо было выздороветь от этой идеи, невольной поселенной во мне кругом общения, переначитанностью, ифлийской высоколобостью, надеждой на талант и особое предназначение». Нечто подобное пришлось пережить и перечувствовать тогда многим из круга Слуцкого, особенно москвичам; равно как по стихам того же Самойлова, по прозе Е. Ржевской, В. Кондратьева и их сверстников очевидно, что еще на войне в них происходит процесс познания, узнавания собственного народа во всем его разнообразии и объеме.

Слуцкого эти процессы либо миновали, либо куда меньше затронули. И не потому, что он был на год-два старше многих своих товарищей по московской группе поэтов. Но потому, что преобладание обязанностей над правами было в него вбито еще отцом, потому что к разнообразию и разнохарактерности народной он зорко сумел присмотреться еще в Харькове, в детстве и юности (и то, что он видел на войне, увеличивало его знания о людях, а не изменяло их), потому что даже начитанность его, видимо, оказалась другой, иного качества. И главное, что занимало его тогда, в начальную пору войны, тоже было иным — «причина, смысл большого неуспеха», катастрофических поражений Красной Армии в 1941—1942 годах, связь их с тем, что творилось в стране перед войной.

Чуть больше года с двухмесячным госпитальным перерывом по

ранению он служит секретарем, а потом военным следователем дивизионной прокуратуры — сказалось хотя и незаконченное, но юридическое образование. В декабре 1942 года он уходит в батальонные политруки. Вместе с Западным фронтом он отступает от Белоруссии к Москве, участвует в Московском сражении, затем в недолгом наступлении и в затяжных оборонительно-наступательных боях. С июня 1943 года и до конца войны и даже дольше — до августа 1946 года Слуцкий все время в составе политотдела 57-й армии участвует в освобождении Украины (в том числе — родного Харькова), Молдавии, нескольких европейских стран. Вот отрывок из автобиографии, хранящейся в его писательском личном деле:

«Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования, написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о Юго-Западной Венгрии. Писал текст первой шифровки «Политическое положение в Белграде» (20 октября 1944 года). Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы (в том числе в Белграде и в районе Граца) — вел обычную жизнь политработника. В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое провинциальное правительство в Штирии (Южная Австрия)».

По причине исторической и политической осведомленности гвардии майора Слуцкого в послевоенной обстановке освобожденных стран командование армии до августа 1946 года сопротивлялось его демобилизации и согласилось на нее лишь тогда, когда у него начались дичайшие и нескончаемые головные боли (возможно, результат незалеченной контузии). Он был комиссован и признан инвалидом II группы Великой Отечественной войны. И вернулся в Москву.

«Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками. 1946—1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948—1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных».

В госпиталях он перенес две трепанации черепа — головные боли удалось утишить, но не устранить, так они и сопровождали Слуцкого всю жизнь. А вот к определению «непечатающийся поэт» нужен кое-какой комментарий. Итогом предвоенных и военных размышлений Слуцкого о судьбе страны, народа, власти, революции было то, что они вместе с Самойловым дали друг другу обещание даже не пытаться публиковать написанное до смерти Сталина. А то, как

Слуцкий выходил из болезни и возвращался к поэзии, изложено в его стихотворении «Как я снова начал писать стихи».

Жил Слуцкий в Москве, снимая то углы, то комнаты. Зарабатывал на жизнь в Радиокomiteте, составляя композиции на политические и литературные темы, изредка изготовляя тексты для песен, если та или другая композиция нуждалась в песнях. В 1951 или в 1952 году Л. Озеров и Д. Самойлов привлекли Слуцкого к переводческому делу.

Через полгода после смерти Сталина, в августе 1953 года в «Литературной газете» было напечатано стихотворение Слуцкого «Памятник». Оно было замечено, как и другие публикации его стихов, с трудом, с потерями, но пробивающиеся в «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Пионер», первый «День поэзии», альманах «Литературная Москва», «Комсомольскую правду». Вокруг этих публикаций сразу же забурлило. Основная и очень влиятельная часть критики приняла их в щтыки (так, например, опубликованные в «Комсомолке» в 1956 году стихотворения «Последнею усталостью устав...» и «Вот вам село обыкновенное...» вызвали такой критический рев, такие обвинения в антигероизме, антипатриотизме и т. п., что газета, прославившаяся в те годы широкой и безоглядной пропагандой новой поэзии, стихов Слуцкого в последующие четыре года печатать не решалась), читатели и наиболее авторитетные старшие поэты — доброжелательно и даже восторженно (на одном из обсуждений стихов Слуцкого в Доме литераторов Михаил Светлов произнес запомнившуюся многим фразу: «Надеюсь, всем присутствующим ясно, что пришел поэт лучше нас»).

Широкого читателя поэзии Слуцкого помогла также обрести и статья И. Г. Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого», опубликованная в «Литературной газете» летом 1956 года с высокими (иным казалось, неоправданно завышенными) оценками этих стихов, прозвучавшими тогда, когда и стихотворений-то этих было напечатано в периодике немногим более трех десятков (между прочим, значение эренбурговской статьи состояло еще и в том, что автор процитировал в ней многие строки из стихотворений еще неизвестных — иные из них таковыми остались в течение 30-ти последующих лет).

Так что, когда через полгода после этого, в январе 1957 года, на приемной комиссии обсуждалось дело Слуцкого и рекомендации П. Г. Антокольского, Н. Н. Асеева, С. П. Щипачева, как совершенно справедливое, прозвучало резюме рецензии поэта Павла Железнова на произведения абитуриента: «Говорят, что, не войдя еще в Союз писателей, он уже вошел в литературу». Прием происходил тяжело, в два захода, на комиссии звучали голоса, требовавшие подождать до выхода первой книги, разобраться с политическим лицом Слуцкого (по Москве уже начали ходить его стихотворения «Бог» и «Хо-

зиян», и перевернутые строчки из них приводил в своем выступлении один из ретивых противников приема Слуцкого в Союз). Тем не менее Слуцкий был принят.

А в конце 1957 года вышла в свет его первая книга «Память».

2

Творческие поиски и мировоззренческие искания Бориса Слуцкого всегда шли рука об руку. Но как бы ни менялась его строка, а она менялась, хотя многие читатели и критики до сих пор пребывают в уверенности, что стих Слуцкого всегда ровен и неизменен, какой бы саморевизии ни подвергалось его мировосприятие, взгляды на жизнь и на историю, были в его творческом облике некие черты, которые он пронес от ученического стихописания конца 30-х годов до последних строк, написанных в мае 1977 года. Они были зорко увидены и отмечены Ильей Эренбургом, который писал: «Что меня привлекает в стихах Слуцкого? Органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие смутно предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредствен...» И еще: «Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем, — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы не колеблясь ответил — музу Некрасова. Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова».

Думаю, значение статьи И. Г. Эренбурга в творческой биографии Слуцкого оказалось куда больше привлечения внимания читателей к творчеству поэта, она, скорее всего, и самому поэту, бывшему, несмотря на солидный творческий стаж, еще в начале пути, показала какие-то важные ориентиры, определила, как теперь говорят, приоритеты, помогла вернее и быстрее выбрать нужные направления. Нет спора — поэт, как и всякий организм, развивается по своим законам, и никакой критик не в состоянии тут что-либо переиначить. Но как и всякий организм, он чутко реагирует на условия и обстоятельства, они либо замедляют, либо ускоряют это развитие. Эренбурговская статья была подкормкой, удобрением, ускоряющим рост, укрепляющим корневую систему поэта, поддержкой, повышающей уверенность в себе и в избранной участи.

А поддержка была необходима даже при том твердом характере и той крепкой воле, которая отличала Слуцкого: ведь жестокая, а то и зашатавшая критика, которой он подвергался, совмещалась и с верными конкретными замечаниями, и важно было не смешать

одно с другим. К счастью, Слуцкому в основном удавалось отделять злаки от плевел.

Больше того, полагаю, что не без некоторого влияния щедрого отклика Эренбурга Слуцкий вскоре рискнул отойти от военной темы, которая в основном определяла содержание двух его первых книг и принесла ему читательское признание. Рискнул, вопреки народной поговорке, поискать добра от добра.

На самом деле рисковыми были оба пути: и тот, с которого он сошел, и тот, на который он встал. Первый означал самоповторы, эксплуатацию уже найденного стиля и жанра («Скоростных баллад лихой набор!.. В каждой тридцать строчек про войну, про ранения и про бои. Средства выражения — мои») и рано или поздно должен был привести к оскудению разрабатываемой жилы, к размыванию черт творческого лица, к иссяканию таланта. Примеров подобного поведения, а вернее, беспутства, было полным-полно вокруг и около — и среди старших коллег, и даже среди сверстников, начавших печататься раньше. Но он был спокойным и в общем-то беспечальным, этот путь: в конце концов недружественная часть критики и читателей привыкла бы к его прозаизмам, к его резкой и жесткой правде о войне, к его подчеркнутому драматизму, — а до оскудения всего этого могло быть еще и далеко.

Он был спокойным, этот путь, в отличие от иного, ведущего в полную неизвестность и уж во всяком случае поначалу не обещавшего ни скорых побед, ни почестей, ни даже читательского внимания, ибо читатель консервативен и предпочитает встречать под знакомой фамилией привычное, уже как бы закрепленное за ней содержание. Тем не менее Слуцкий стал на этот новый путь, путь поэтического освоения текущей действительности, людей, событий и проблем послевоенной, послесталинской реальности («Как испанцы — к Америке, подплыву к современности...»). Это освоение давалось совсем не просто: какое-то время из-под пера выходили точные, даже мастеровитые стихотворные слепки с фрагментов действительности, в то же время холодноватые, остраненные, словно бы художник существовал отдельно от модели и душевно мало чем с ней связан. Не вдруг давалось поэтическое преобразование этой самой реальности. Порой Слуцкому казалось, что и в мирном времени, и в нем самом — в поэте есть что-то не дающее им совместиться, стать друг другу родными и нужными: «Мой квадрат не вписывается в этот круг...»

Сейчас, задним числом, эта ситуация объясняется легко, несложно: поэту драматическому, даже трагическому, каким изначально и всегда был, но каким, возможно, не сразу себя осознал Слуцкий, нужны были и соответствующие темы, соответствующие сюжеты. Найти их, взглянуться в них, отыскать драматические, нервные узлы в будничном течении жизни, вершащейся и вокруг, и рядом,

и даже в нем самом, некоторое время Слуцкому мешали, возможно, эйфория неожиданной и громкой известности, славы (ибо не только дружная читательская поддержка, но и злобная ругань критики были славой), возможно, эйфория веры в то, что после XX съезда партии, после разоблачения «культы личности и его последствий», после освобождения из тюрем и лагерей неправедно заключенных и реабилитации (пусть еще частичной, неполной) тех, кто там погиб, после многочисленных иных послаблений, последовавших за смертью Сталина («Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо. Перемотать портянки присел на час народ, в своих ботинках спящий невесть который год»), страна и народ вернутся на предрокананный Октябрем семнадцатого и Лениным путь, что идеалам и мечтам, внушенным с детства и несомным с детства, все-таки суждено сбыться, осуществиться, воплотиться в живой яви. Эти два восторга, переплетенных между собой, перетекающих один в другой, застили Слуцкому зрение, толкали его на путь стихотворных лозунгов и рецептов («Поэты! Ваше дело — слово. Пишите ясно и толково», «Надо думать, а не улыбаться»), не давали поэту высвободиться и зорко взглянуть окрест.

Вот тут, по всей видимости, и сыграл свою благотворительную роль демократизм, впитанный с воздухом родного города, дополненный и углубленный на войне, не заслоненный своими собственными послевоенными невзгодами. Демократизм и порожденное им милосердное внимание к человеку любого ранга и звания, социального состояния и образовательного ценза, возраста и общественного положения, просто к человеку с его большими и маленькими горестями, с нечастыми радостями, с бытовыми и гражданскими чаяниями и надеждами, с прямыми и путаными судьбами, с их устройством и неустройством. «А сто или сто двадцать человек, квартировавших рядышком со мною, представили двадцатый век какой-то очень важной стороною». Люди помогли понять век, понять мир, люди помогли освободить глаза от тенет, люди помогли понять что-то самое важное о себе самом:

Меня не обгонят — я не гонюсь.
Не обойдут — я не иду.
Не согнут — я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.
Я гореприемник, и я вместительней
Радиоприемников всех систем...

И когда это оказалось понято о себе, тогда он смог сказать и другие важные слова: «Жалкой жажды славы — не выкажу — ни в победу, ни в беду. Я свои луга еще выкошу. Я свои алмазы — найду».

Это ведь было сказано не просто так, случайно, а вовремя и по делу. Пока Слуцкий нащупывал и нащупал новые пути для своей

поэзии, пока он искал и нашел значимые проблемы, темы и сюжеты, пока писались и наконец написались стихи, в которых все это зазвучало со свежей поэтической силой, в стране изменилась ситуация: и литературная, и политическая. Читателем, в ту пору очень заинтересованным в поэзии, смывавшим с магазинных полок любую новую стихотворную книгу, штурмовавшим Политехнический музей и другие залы, где на эстраду выходили молодые поэты той волны, что была связана с именами Евтушенко, Рождественского, Ахмадулиной, Вознесенского, Окуджавы, этим широким и влиятельным читателем Слуцкий был как-то незаметно, словно бы нечаянно отброшен и забыт. Может быть, и несложно было вновь овладеть его вниманием, — имя еще было на слуху, как и такие славные стихи, как «Лошади в океане», «Давайте после драки...», «Физики и лирики», по рукам еще ходили рукописные и машинописные копии «Современных размышлений», «Лакирую действительность...», «Ключа», «Злых собак», — но те стихи, которые как раз и могли привлечь внимание, вызвать новое извержение интереса, самые острые и резкие из того, что уже было написано и писалось, уже не могли быть напечатаны. Время начало меняться. Еще вчера верилось: то, что не напечатали сегодня — как пить дать напечатают завтра; сегодня ясно виделось: то, что напечатали вчера — нынче почти непроходимо, а завтра и подавно.

Самое обидное и несправедливое (вовсе не только по отношению к Слуцкому, а может быть, прежде всего по отношению к его тогдашним потенциальным, но несостоявшимся читателям, думавшим о том же и страдавшим тем же, что и он) в этой ситуации было то, что именно в это время Слуцкий прорвался к своей теме, нашел «свои алмазы» и стал выкашивать «свои луга».

Смолоду у Слуцкого были две любви, он растил в своей душе два равноправных древа: поэзия и история. И когда эти два древа соприкасались листьями и ветвями, его осеняла удача. Так было, когда он писал о войне, о ее грозной и вольной поре. Так было, когда умер Сталин и прошел XX съезд. И вот теперь в середине 60-х, он снова почувствовал шаги истории, проник в ее ходы, разгадал ее замыслы. Радости эти открытия ему не доставили. Тем не менее это были открытия. Через несколько месяцев после ухода Хрущева с первого поста в государстве и водружения на это место Брежнева он в стихотворении «Сласть власти не имеет власти...» произнес свое первое, пожалуй, пророчество:

Устал тот ветер, что листал
Страницы мировой истории.
Какой-то перерыв настал,
Словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.

Именно в это время началось крушение прежних идеалов Слуцкого. Больше он уже никогда не вернется к ним, даже скажет с некоторой брезгливостью позже, в 70-е: «Мое недалекое прошлое — иллюзии самые пошлые...» А сейчас в мертвящем белом свете прозрения, осветившем для него ближайшие грядущие десятилетия, он будет переоценивать давние и недавние события, деятелей минувшего и настоящего времени, конечно же, себя самого, свои поступки и свои стихи.

Это легко написать, но нелегко даже представить себе, как было, как происходило. Ведь эти идеалы не были для Слуцкого чем-то внешним, отдельным, они с ним, «харьковским робеспьеристом», срослись, соединились нервами и кровяными капиллярами, отдирать их нужно было вместе с кожей. Эта долгая, растянувшаяся на многие годы трагическая операция самоочищения была пострашнее и мучительнее тех трепанаций черепа, которые ему делали после войны.

Со всем ли он расставался в себе прежнем? Нет. Тогда бы вообще надо было уходить из жизни. Он не мог и не хотел расстаться со своей любовью к людям — и к тем, что уже вошли в его стихи (одних солдатских вдов — не пересчитать), и к тем, что еще войдут (от советских сановников до шоферов такси, от детей «врагов народа» до городских и деревенских старух), и к тем, с кем просто жил бок о бок, дышал одним воздухом, мучился теми же болями. «Останусь со слабыми мира сего» — эти слова (то ли клятва, то ли завет) не раз так или иначе прозвучат на страницах его рабочих тетрадей. И прозвучат не только словом, но и делом: на тех же страницах будут появляться все новые и новые стихи, полные милосердного внимания, тонкого понимания, сочувственной боли, веры и надежды, умных раздумий о частных и общих судьбах.

Вместе с людьми, о которых он писал (тут были и свежие наблюдения, и воспоминания), в стихи входили времена, эпохи, периоды, десятилетия и годы советской истории. Тот «дневник в стихах», что вел поэт, незаметно для него самого, нечаянно, исподволь становился хроникой, лирика оборачивалась эпосом, в эпизодах которого действовали, бушевали, сталкивались, возникали и исчезали люди, идеи, настроения, факты и фантомы 20—70-х годов нашего века.

Эта хроника не была бесстрастной — до равнодушного всепрощения Слуцкий не опускался, ни цинической, ни возрастной умиротворенности не знал. В ней были суровые приговоры как людям, так и событиям. Наверное, самым суровым был вердикт брежневской эпохе и ее деятелям, большим и малым, наглому, безыдейному стяжательству, воинствующему бескультурию, горестному распаду общественных и людских связей, хамской, едва ли не разбойничьей бесчеловечности. Конечно же, в печать попадало лишь очень немно-

гое из того, что он писал, да и книги его стихов, выходявшие раз в 3—4 года, читались, к сожалению, не очень внимательно.

О положении, в котором он оказался, он достойно, со скрытой горечью рассказал в стихотворении, из которого необходимо привести хотя бы две с небольшим строфы: «Ткал ковры. И продавал — внарез. Брали больше голубое, розовое. А на темное — и цены бросовые. Темное не вызывало интерес... Оставалась темнота — при мне... Тем не менее я занимался делом, кто бы ни советовал и что, белое я ткал, как прежде белым. Черное же белым — ни за что». Иногда кажется, что та масса «темного», что скапливалась в рабочих тетрадах поэта, физически душила человека.

Есть итальянское выражение «*Nel vegore il bello*» — «Только правдивое прекрасно». Есть наше русское, вложенное Горьким в уста босняка и анархиста в душе Сатина: «Правда — бог свободного человека». В разговоре о Борисе Слуцком, о его поэзии последнего периода уместны оба.

Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60—70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. «Политическая трескотня не доходит до меня», — писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды — и она откликалась в нем строками прекрасных стихов.

Когда-то в молодости, когда их непререкаемым кумиром был Маяковский, они с Кульчицким свинчивали стихи из отлично сделанных строчек. Потом был Некрасов, его рыдающая лира: «На долгие годы он был для меня любимее. Любимее всех». Теперь им безраздельно владел Пушкин, его безмерная свобода, его приятие жизни, его светлый канон. Именно Пушкин помогал ему «выговориться» (так коротко и четко определил теперь Слуцкий свою «главную цель как поэта» в ответе на вопрос грузинского журналиста). И не случайно «пушкинский светлый гений» мелькнет в одном из последних стихотворений Слуцкого.

Последние стихи Слуцкого... Эта тетрадь, а вернее, несколько толстых тетрадей еще выйдут когда-нибудь отдельной книгой, то будет одна из удивительных книг русской поэзии. Она писалась после смерти жены.

Жена Слуцкого Татьяна Борисовна Дашковская, спутница его жизни с 1957 года, болела долго и безнадежно. Вопреки всему, вопреки точному знанию о ее болезни, Слуцкий спасал ее как мог и верил, что она переживет его. Ее смерть в феврале 1977 года не могла быть для него неожиданностью и все же была ею, была страшным

ударом. Оказалось, что ее жизнь, ее болезнь, ее спасение и были в 70-е годы основными нитями, привязывавшими к жизни и его.

И пока обрывались иные ниточки и цепочки, пока рушилось все остальное, оставшееся, Слуцкий заполнял тетради стихами. Стихами, буквально лившимися из него. В этих тетрадях, в этих стихах — многое и разное. Прежде всего — скорбь потери, сказавшаяся во многих строках. Ощущение, что происходит последний разговор с друзьями, современниками, страной («Я знаю, что «дальше — молчанье», поэтому поговорим, я знаю, что дальше — безделье, поэтому сделаем дело»). Вдруг вспыхивающая надежда, что, может быть, удастся прорваться, как удавалось когда-то. И несмолкающая любовь к людям. И сомнения в великом деле литературы, которому служил всю жизнь, и прежде всего в том, что делал и сделал сам. И отчаянные просьбы: «Умоляю вас, Христа ради, с выбросом просящей руки, раскопайте мои тетради, расшифруйте черновики». И горькие, даже страшные пророчества. И благословение остающейся жизни:

Продолжается жизнь — даже если я кончился.
Продолжается жизнь — даже если я скорчился,
словно в огненной выюге
бумажный листок.
Все равно: юг на юге,
на востоке — восток.

Это продолжалось три месяца. В мае 1977 года Слуцкий ушел в душевную депрессию, умолк. Следующие девять лет он провел в больницах, в пустой квартире (не желал никого видеть: «Не к кому приходиться», — отвечал по телефону на просьбу друзей о встрече), снова в больнице, в семье брата, среди любящих и заботливых людей. Был здрав умом, памятьлив, по-прежнему точен и остер в оценке ситуаций в стране и в мире, в добрые минуты звонил старым знакомым и подолгу разговаривал с ними. Но — дара не было, стихи уже не приходили. И это, по-видимому, доставляло самые большие страдания. Смерть избавила его от них 23 февраля 1986 года.

Когда думаешь о его жизни, видишь, что в чем-то она была такой же тяжелой, как у его сверстников, в чем-то — тяжче. И все же он был счастливым человеком. Он не давал себе пощады, и он осуществился.

А еще — он пределал многие стадии того пути, на который мы сейчас ступили, пути духовного и нравственного высвобождения. Все, что мог, он сделал для того, чтобы его соотечественникам было чуточку легче. Вот почему его слово не только прекрасно, оно еще и настойчиво: так отцы и друзья предупреждают о крутых поворотах и пропастях, которые они разглядели раньше нас. Расслышим ли? Прислушаемся ли?

Юрий Болдырев

**ИЗ РАННИХ
СТИХОВ**

**ГЕНЕРАЛ МИАХА, НАБЛЮДАЮЩИЙ ПЕРЕХОД
ИСПАНСКИМИ ВОЙСКАМИ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЫ**

Республика дозволила войти,
Но факт есть факт и — горе побежденным.
Оркестр молчит, и свернуты знамена.
И генерала нету впереди.

Он на трибуне занял место с краю,
В седин приличье лысину убрал.

Так в клуб — смотреть — приходят шулера,
Когда за стол их больше не пускают.

Седой старик, почтеннейший старик,
Слегка на пенсии, болезнью чуть разбитый...
А он стоит и мучает парик
И примеряет лоб к самоубийству.

О, все б вернуть! О, если б все отдать —
Почет, богатство, мелочи регалий —
За то, чтоб здесь разбитым генералом
С разбитой армией в концлагерь прошагать!

И, лавочников левых убеждений
Смеша,

он проборматывает вниз:
— Неплохо, мальчики, хоть сапоги грязны —
Штыки блестят — оно важней в сраженьи.
Но шаг! Где шаг! Дыханье — затаить!
Вы репутацию мне портите, мальчишки!

Им дают грудь их орденские книжки,
Где ваша подпись, генерал, стоит.

ИНВАЛИДЫ

1

На Монмартре есть дом, на другие дома не похожий,
Здесь живут инвалиды, по прозвищу «гнусные рожи».
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.
Их убогие лица настолько противны природе,
Что приличные дамы обычно рожают досрочно
При поверхностном взгляде на этих несчастных уродин!
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.
Им пришлось быть на фронте, и смерть надавала пощечин.
Оскорбила их смерть и пустила по свету, как камень.
И они побрели, прикрывая несчастье руками.
И, чтоб лучших пейзажей не портили эти бродяги,
Чтоб их жен и невест от такого позора избавить —
Их толкнули сюда и расторгли законные браки —
Потому что они не имеют законного права!
Им тепло, и похлебка, и в праздники можно быть пьяным.
Но нельзя же без женщин! Остается одна Марианна.
О, пришла бы сюда эта тихая девушка в белом,
Они рвали б на части продолговатое тело.
Затерзали бы насмерть, но любили б не меньше.
Потому что нельзя же, нельзя же, нельзя же без женщин.

2

В пять часов
по утрам
санитар
умываться
будил их.
Он их любит,
и лупит,
и зовет их
«мои крокодилы»!

Крокодилы встают и довольны, не вспомнил покуда,
Но недаром на стенах дары господина Ахуда.
Этот мсье — он ученый. И вообще недурной человек
С перепутанным прошлым, с особым прищуром на вещи.
Он помешан на правде. И чтоб скрытое стало открытым,
Он прислал зеркала. Зеркала. Зеркала — инвалидам.
Закрывайтесь, клянитесь, в ресницы глаза затушуйте!
Вы посмотрите! Истина восторжествует!
После дня размышлений о том, что не так уже страшно,
После ночи забытья — простой человеческой ночи
Вас согнут, вас сомнут, оглушат. Ошарашат.
Эти темные маски. Их точность. Их тихая точность.
Так недаром Париж называет вас «гноусные рожи»!
Глас народа — глас божий.
Они падают ниц! Пощади, всемогущий!
О, не дай нам смотреть, о, за что ты караешь невинных!
Но ему все равно! Он имеет Марию и кущи,
И ему наплевать.
Он — довольно красивый мужчина.

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

Давайте деньги бедным,
Давайте хлеб несатым,
А дружбу и любезность
Куда-нибудь несите,
Совсем в другое место,
Где трижды в день еда,
Несите ваши чувства,
Тащите их туда.
Я вычитал у Энгельса,
Я разузнал у Маркса,
На что особо гневаются
Рассерженные массы:
На то, что хлеба — мало,
На то, что негде жить,
Что трудно без обмана
Работать и служить.
Брезентовые туфли
Стесняют шаг искусства,
На коммунальной кухне
Не расцветают чувства,
И соловьи от басен
Невесело поют...
Да процветает базис!
Надстройки подождут!

А точней — небольшие года,
Чтобы сгинуть потом навсегда.

Это мы, это мы придумали,
Это в духе наших идей.
Мы первейшие в мире сдунули
Золотую пыльцу с людей.

* * *

Деньги пахнут грозным запахом,
Важным, душным и жестоким,
Доброты закатом, западом,
Зла восходом и востоком.

Медь, и серебро, и бронза
Пахнут попросту металлом,
А бумажки пахнут грозно —
Пахнут палачом усталым.

Вот пришел палач с работы,
Взял пижаму, снял рубашку.
У рубашки — запах пота,
Словно у большой бумажки.

Дети! Вы шуметь не смейте!
Спит и дышит мастер трупный,
У дыханья — запах смерти,
Словно у бумажки крупной.

В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые — спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.

Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета —
Пылает солнце, не жалея сил.
Над сорока миллионами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.

СОЛДАТ И ДОРОГА

Если солдат пройдет по дороге —
Он избеет усталые ноги.
Это касается только его.
Ей-то, дороге — всего ничего!

Если пройдет по дороге армия,
Скажем, гвардейская или ударная,
Грейдер колеса своротят так,
Словно скулу своротил кулак.

Я был солдатом и был дорогой:
Подчас сапогами булыжник трогал,
Бывало, сам лежал под ногами,
Пинаемый теми же сапогами.

И мне казалось в обоих случаях,
Что для солдата с дорогой — лучшее,
Чтоб солдат с дороги — сошел,
Три метра тени вблизи нашел,
Выключил бы мотор у танка,
Присел, перемотал портянки...

Война несвойственна человеку.
Дороге — совсем не к лицу война.
И если топчет дорогу-калеку
Солдат, измотанный до края, до дна,
Значит, есть на это причина,
Причина, весомая, что кирпичина.

Значит, дорога ведет к его дому,
К родному порогу дорога ведет,
И он не даст солдату чужому
Шагать по дороге взад-вперед.

1942

Не естся хлеб, и песни не поются.
В душе, во рту, в глазах — одна тоска.
Все кажется — знамена революции
Без ветерка срываются с древка.
Сентябрь. И немцы лезут к Сталинграду.
А я сижу под Ржевом и ропщу
На все. И сердце ничему не радо —
Ни ордену, ни вёдру, ни борщу.
Через передовую — тишина.
Наверно, немец спит после обеда.
А я жую остывший ком пшена
И стыдно есть — задаром, без победы.

* * *

Я был учеником у Маяковского
Не потому, что краски растирал,
А потому, что среди ржанья конского
Я человеческим голосом орал.
Не потому, что сиживал на парте я,
Копируя манеры, рост и пыл,
А потому, что в сорок третьем в партию
И в сорок первом в армию вступил.

СОЛДАТСКИЕ РАЗГОВОРЫ

Солдаты говорят о бомбах.
И об осколочном железе.
Они не говорят о смерти:
Она им в голову не лезет.

Солдаты вспоминают хату.
Во сне трясут жену как грушу.
А родину — не вспоминают:
Она и так вонзилась в душу.

ДОРОГА

Сорокаградусный мороз.
Пайковый спирт давно замерз,
И сорок два законных грамма
Нам выдают сухим пайком.
Обледенелым языком
Толку его во рту
упрямо.

Вокруг Можайска — ни избы:
Печей нелепые столбы
И обгорелые деревья.

Все — сожжено.
В снегу по грудь
Идем.
Вдали горят деревни:
Враги нам освещают путь.

Ночных пожаров полукруг
Багровит Север, Запад, Юг,
Зато дорогу освещает.
С тех пор и до сих пор
она
Пожаром тем освещена:
Он в этих строчках догорает.

ПЕРЕД ВЕЩАНИЕМ

Вот съехал странный грузовик
На вздрогнувшую передовую.
Свою осанку трудовую
Он в боевых местах воздвиг.

Передовая смущена
Его трубой и ящиком.
Еще не видела она
Таких машин образчика.

К шоферу подошел солдат
И вежливо спросил шофера:
— Что ваши люди здесь хотят?
Уедут скоро? Иль нескоро?

Но, обрывая их беседу,
Вдруг
 рявкнула
 труба,
От правого до левого соседа
Всю тишину дробя, рубя, губя.

Она сперва, как лектор, кашлянула,
Потом запела, как артист,
В азарте рвения дурашливого
Зашедший к смерти — погостить.

У нас была одна пластинка —
Прелестный вальс «Родной Дунай».
Бывало, техник спросит тихо:
«Давать Дунай?» — «Дунай? Давай!»

И — километра три — по фронту,
И — километров пять — вперед

Солдат, зольдатов, взводы, роты
Пластинка за душу берет.

У немцев души перепрели,
Но вальс имел такие трели,
Что мог и это превозмочь...

И музыка венчала ночь
Своей блистательной короной —
Всей лирикой непокоренной,
Всем тем, о чем мы видим сны,
Всем тем, что было до войны.

Ах, немцы, сукины сыны!
Чего им, спрашивается, надо?
И кто их, спрашивается, звал?

На ползвучании рулады
Я вальс
 «Родной Дунай»
 прервал.

ЗЕМЛЯНКА

Вечерами
 в полумраке каторжном
На душе последняя печаль.
Офицеры вынимают карточки,
Мечут на топчан.

Высыхают глотки от желания,
И невест своих
 до самого утра
Мальчики
 мужским воспоминанием —
В первый раз!

Разговором горлышки полощут,
Какие они —
 говорят.

Видимо —
 горячие на ощупь,
Розовые на взгляд.

Если нам
 из этого страдания
В рай побед положено убыть —
Мы не будем добрыми с Германией!
Мы не сможем быть.

В ГЕРМАНИИ

Слепые продавцы открыток
Близ кирхи, на углу сидят,
Они торгуют не в убыток:
Прохожий немец кинет взгляд,
«Цветок» или «Котенка» схватит,
Кредиткой мятою заплатит,
Сам сдачи мелочью возьмет,
Кивнет и, честный, прочь идет.

О, честность, честность без предела!
О ней, наверное, хотела
Авторитетно прокричать
Пред тем как в печь ее стащили,
Моя слепая бабка Циля,
Детей четырнадцати мать.

* * *

Не безымянный, а безыменый —
Спросить никто не догадался, —
Какой-то городок бузиновый
В каком-то дальнем государстве,
Какой-то черепично-розовый,
Какой-то пурпурно-кирпичный,
Случайный городишко, бросовый,
Райцентр какой-то заграничный.
В коротеньких штанишках бургеры
И девушки в шляпенках фетровых
Приветствия тоскливо буркали
И думали — они приветливы.
Победе нашей дела не было
До их беды, до их злосчастия.
Чего там разбираться — нечего:
Ведь нам сюда не возвращаться.
А если мы берем в Германии —
Они в России больше брали.
И нас, четырежды пораненных,
За это упрекнут едва ли.

КОМИССАРЫ

Комиссар приезжает во Франкфурт ам Майн, ---
Молодой парижанин, пустой человек.

— Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!
Собирай и вноси! Восемнадцатый век!

— Восемнадцатый век, — говорит комиссар, —
Это время свободы! Эпоха труда!
То, что кончились сроки прелатов и бар —
Ваши лыбые души поймут ли когда?

Нет, не кончился вовсе, не вышел тот срок,
И с лихвою свое комиссар получил,
И ползет из земли осторожный росток
Под забором,
 где били его палачи.

Этот опыт печальный мы очень учли
В январе сорок пятого года,
Когда Франкфурт ам Одер за душу трясли
В честь труда и во имя свободы.

Комиссаром двадцатого века в расчет
Принята эта правда простая.
И трава,
 что во Франкфурт ам Одер растет,
Не из наших костей прорастает.

ВОЗВРАЩАЕМ ЛЕНДЛИЗ

Мы выкрасили их, отремонтировали,
Мы попрощались с ними, как могли,
С машинами, что с нами Днепр форсировали,
От Волги и до Эльбы с нами шли.

Пресс бил по виллису. Пресс
мял
сталь.

С какой-то злобой сплющивал,
коверкал.

Не как металл стучит в другой металл —
Как зверь калечит
человека.

Автомобиль для янки — не помеха.
Но виллис — не годится наотрез.
На виллисах в Берлин
с Востока
въехали.

За это их растаптывает пресс.

Так мир же праху вашему, солдаты,
Сподвижники той праведной войны —
И те, что пулей
в лоб

награждены.

И те, что прессом в лом железный смяты.

ХЛЕБ

Весной сорок первого года
Фашисты вошли в Афины —
Зеленая мотопехота,
Песочные бронемшины.
И сразу не стало хлеба,
Как будто он жил — и вымер,
Как будто он встал — и вышел,
Шурша колосками своими.

Весной сорок первого года,
Зеленой порою мая,
Голодные толпы народа,
Рогатки врагов ломая,
Пришли на большую площадь,
К посольскому дому со львами,
К тому, над которым полощет
Советское красное знамя.

И кто-то крикнул: «Хлеба!»,
И кто-то крикнул: «Советы!»,
И вся огромная площадь,
Готовая пасть за это,
В борьбе умереть за это,
Обрушить на землю небо —
Кричала: «Советы! Советы!
Советы дадут нам хлеба!»

Их было пятнадцать тысяч,
А может быть, двадцать тысяч,
Их веру, любовь, надежду
В граните надо бы высечь.
Пока же гранита нету,
Гремите, шатая небо,
Простые слова: «Советы,
Советы дадут нам хлеба».

В Болгарии и в Албании,
В Китае, Венгрии, Польше,
В Румынии и в Германии —
Нету голодных больше.
Но хлеб, ушедший из Греции,
Домой не вернулся доселе,
И нищие дети Греции
Досыта не поели.

Пока хоть один голодный
О хлебе насущном просит,
Советский народ свободный
В несчастье его не бросит.
До синего вашего моря,
До жаркого вашего неба
Летите слова прямые:
«Советы дадут вам хлеба!»

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ БАЛЛАДЫ

(Лекция)

Взрыв, локализованный в объеме
Сорока плюс-минус десять строк, —
Это формула баллады (кроме
Тех баллад, которым вышел срок).

В первой трети текста нужно, чтобы
Было что взрывать.
ЧТО!

За этим ЧТО глядите в оба!
Здесь продешевить,
как проиграть.

Чтоб оно стояло!
Чтобы стыло,
Восходя превыше облаков —
С фронта защищенное и с тыла,
Кованное сверху
и с боков.

Верую, Надеждою, Любовью
Это может быть.
Лучше же — империей люблю, —
Их балладам правильной дробить.

Помните, пред чем стихи в ответе,
Им в глаза Истории смотреть...
Это — содержанье первой трети.

А какая следующая треть?
Чем ей быть?
Куда ей подаваться?
За кого голосовать?
Ни царевыйц,
ни святотатцев
Не хочу в балладу я совать.

Секта? — вздор.
Заговор? — не надо!
Партия! — она, она одна
По железной логике баллады
Сокрушать империи должна.

Очищайте место ей пошире,
Ширьте ей отведенную треть,
Чтобы было, где расправить крылья,
Прежде чем взмахнуть и полететь.

Чтобы заграждения колючие
Командир саперный не забыл,
Краткий курс — учебник революции —
Вовремя
 чтоб проработан был,

Чтобы наш советский русский опыт
Пребывал основой основ
Революций и баллад Европы,
Азии
 и всех материков.

Третья треть, последняя — взрывная.
И ее планировать — нельзя.
Точных траекторий мы не знаем,
По каким осколки проскользят.

Как и где проглотит Черчилль пулю?
Трумен что суду произнесет?
Это — не спланируемо вслепую.
Это — не спророчимо вперед.

Закрывайте конспекты и тетради.
Здесь — конец науки о балладе.

БАЛЛАДА О ТРЕХ НИЩИХ

Двурукий нищий должен быть
Весьма красноречивым:
Ну, скажем, песню сочинить
С неслыханным мотивом,
Ну, скажем, выдумать болезнь
Мудреного названья,
А без болезни хоть не лезь,
Не сыщешь пропитанья.

Совсем не так себя ведет
С одной рукою нищий:
Он говорит, а не поет
Для приисканья пищи —
Мол, это был кровавый бой,
Мол, напирали танки,
Когда простился я с рукой —
Пожертвуйте, гражданки!

Безрукий нищий молчалив —
В зубах зажата шапка.
Башку по-бычьему наклонив,
Идет походкой шаткой:
Мол, кто кладет, клади сюда!
И шапкой вертит ловко.
А мы без всякого труда
Суем туда рублевки.

* * *

Тот день, когда я вышел из больницы,
Был обыкновенный зимний день,
Когда как будто солнышко боится
Взойти вверху на лишнюю ступень.

Но всюду пахло охрою, известкой,
И всюду гул строительный дрожал,
И каменщик в ладонях черствых, жестких
На всех углах большой кирпич держал.

Беременные женщины по городу
Прожаживались шумною гурьбой,
Животы — огромные и гордые,
Как чаши с будущим,
 неся перед собой.

Веселые и вежливые школьницы,
Опаздывая, ускоряли шаг,
И реял в воздухе особо красный флаг.

Я сразу понял, что война закончилась.

ПРО ОЧЕРЕДИ

В очередях стоять я не привык
И четвертушку получил едва ли
Того, что там давали, выдавали —
В хвостах, продолговатых и кривых.

Не для того, бессмертная душа
Мне дадена (без очереди, кстати),
Не для того на клетчатой тетради
При помощи карандаша
Я сотворял миры стихотворения
И продолжаю ныне сотворять,
Чтобы в хвостах очередей стоять
В припадке молчаливого терпенья.

Я тылового хлеба не жевал
И, проживая в солнечной системе,
Я в карточных системах не живал —
Они прошли мимо меня, как тени.
За сахаром я не стоял. За солью
Я не стоял. За мясом — не стоял.
Зато я кровью всей и всею болью
За Родину против врага стоял.

* * *

Нам черный хлеб по карточкам давали.
Нас, будто нитку белую, вдевали
В игольное ушко.
А физики лежали на диване,
И думали, и что-то создавали.
Витали высоко.

Они витали в занебесных сферах,
О нациях и партиях и верах
Не думая совсем,
И выдумали горстку вечных истин,
Коротких и безжалостных, как выстрел.
Немного: пять иль семь.

Они разъелись и с пайка такого
Не жаль им рода нашего, людского.
Им, физикам — людей не жаль.
Они откроют, ну а нас зарюют.
Они освоют, а у нас завоюют.
Им что — не их печаль.

* * *

Человека нора кочевая,
Ватник, на землянку похожий!
Каждый раз, его одевая,
Вспоминаю вечер погожий.

Спирт замерз и ртуть — застыла.
Все дома враги посжигали.
В этот самый вечер
 из тыла
Ватники в бригаду прислали.

Пол-России покрыто льдами.
От Можайска до самой границы —
Словно солнце не всходит годами,
На лету замерзают птицы.

Пол-России тепло сохраняет,
И Свердловская область Урала,
Словно плавка брызги роняет —
Часть тепла солдатам прислала.

Вот он, ватник этот исконный,
Мне врученный тогда перед строем.
Я покрыл его крышей суконной,
Меховой воротник пристроил.

У землянок судьба другая.
Ну, а ватник — пока сберегаю.

* * *

Тридцатилетняя женщина,
Причем ей не 39,
А ровно 29,
Причем — не из старых девок,
Проходит по нашей улице,
А день-то какой погожий,
А день-то какой хороший,
Совсем на нее похожий.

Она — высокого роста,
Глаза — океанского цвета.
Я ей попадаюсь навстречу,
Ищу в тех глазах привета,
А вижу — долю горя,
А также дольку счастья,
Но больше всего — надежды:
Ее — четыре части.

И точно так же, как прежде,
И ровно столько, как раньше,
Нет места мне в этой надежде,
Хоть стал я толще и краше,
Ноль целых и ноль десятых
Ко мне в глазах интереса,
Хоть я — такая досада! —
Надел костюм из отреза,
Обул модельные туфли,
Надраил их до рассвета...

Увидев меня, потухли
Глаза океанского цвета.

* * *

Все мелкие мои долги
И крупные долги —
Как только деньги получу,
Я сразу заплачу.
Но этот долг!
Чтоб он замолк,
Ты, память, помоги!
Устрой, чтоб он меня забыл.
Чтоб он — не говорил.

Не повышает голос он.
Как волос, тонок он.
Зато, как колос, он созрел.
Он мне в глаза смотрел.
О, память, позабуди его!
Он отдал мне поклон.
Ведь я не сделал ничего.
Дай мне забыть его.

Возьму суму, пойду в тюрьму,
Но только никому
Про этот долг не расскажу,
Письма не покажу
И фотографий не отдам,
Как со стены сниму
Те, что в душе еще висят
И тихо говорят.

Не повышая голоска —
Так говорит тоска.
Не нажимая на педаль —
Так говорит печаль.
Я ничего не утаю.
Отдам все до куска —
Но замолчи,
Но оттолкнись,
Оставь меня,
Отчаль.

* * *

Это — ночью написалось.
Вспоминать не буду утром!

Налетай скорее, старость.
Стану дряхлым — стану мудрым.
Гни меня, как ветер — травы,
Душу жги, суши мне тело,
Чтобы ни любви, ни славы,
Ни стихов не захотело.
Только это я и понял
Изо всех теорий счастья.

Утром этого не вспомню —
Сердце бьется слишком часто.

Сердце бьется часто, шибко,
Выкипает за края.
Поправляй мои ошибки,
Смерть разумная моя.
Разрешь мои сомненья,
Заплати мои долги,
Облегчи без промедленья,
Без томленья помощи!

Помоги мне, смерть,
Ото всех болей,
Так меня отметь,
Чтобы лечь скорей,
Чтобы лечь и спать —
Никогда не встать.

* * *

Кто-то рядом слово сказал.
Прислушайся и разберись толково.
Гортанное, словно Казанский вокзал,
Медлительное, как Рижский вокзал,
Мягкое, будто Курский вокзал,
Оно тем не менее русское слово.

Большой советский русский народ,
Что песни на ста языках поет,
Но хочет слушать московское радио
С высоко поднятой головой,
Совместно и дружно владеет Москвой,
Своей многоцветной общностью радуется.
Межи распахавшему на полях,
Межи меж нациями — все напрасные.
У каждой республики свой флаг.
У всех единое знамя красное.

Так будем же развивать языки
Каждого нашего народа.
Но не забывайте ни одной строки
Из Пушкина — общего, как природа.

* * *

Я думаю, что следует начать
С начала.

 Не с конца. Не с середины.
Не с последствий,
 а с первопричины,
Рассвету место дать, а не ночам.

Я был мальчишкою с душою вещей,
Каких в любой поэзии не счесть.
Своею частью и своею честью
Считающим эту часть и честь.

Официально подошедший декаданс
Тогда травой пробился сквозь могилы,
О, мне он был неродной и немилый,
Ненужный — и тогда и никогда.

Куда вы эти годы ни табуньте,
Но, сотнями метафор стих изрыв,
Я все-таки себя считаю в бунте
Простого смысла против сложных рифм.

В реванше содержанья над метафорой,
В победе сути против барахла,
В борьбе за то,
 чтоб, распахнув крыла,
Поэзия стряхнула пудру с сахаром.

Не детские болезни
 декадентские
В тех первых строчках следует считать —
Формулировки длительного действия,
Сырье для хрестоматий и цитат!

Я перелистываю те листы,
Я книжничая в книжках тех карманных.
Они кончаются столбцом печатных данных
Под заголовком: «Знать обязан ты!»

Здесь все, что нужно школьнику,
солдату,
Студенту.

Меры веса — для купца.
Для честолюбца — памятные даты.
И меры времени —
конечно, для глупца.

Хозяин книжек был глупцом таким:
Он никогда не расставался с верой,
Что времени его
его стихи

Нелицемерною
послужат
мерой!

Быть мерой времени — вот мера для стиха!
Задание, достойное умельца!
А музыка — святая чепуха —
Она сама собою разумеется!

Чеканенное ямбами мышление,
Эстетам сведенное в провал,
Стих,
начатый
как формула правления,
Восстанови свои права!

Расправь свою изогнутую выю,
Как в дни «Авроры»
и как в дни войны,
И, может быть,
решенья мировые
В твоих размерах будут решены!

* * *

В сорока строках хочу я выразить
Ложную эстетику мою.

...В Пятигорске,
 где-то на краю,
В комнате без выступов и вырезов
С точной вывеской — «Психобольной» —
За плюгавым пологом из ситчика
Пятый год
 сержант
 из динамитчиков
Бредит тишиной.

Интересно, кем он был перед войной!

Я был мальчишкою с душою вещей,
Каких в любой поэзии не счесть.
Сейчас я знаю некоторые вещи
Из тех вещей, что в этом мире есть!
Из всех вещей я знаю вещество
Войны.

И больше ничего.

Вниз головой по гулкой мостовой
Вслед за собой война меня влачила
И выучила лишь себе самой,
А больше ничему не научила.

Итак,
 в моих ушах расчленена
Лишь надвое:
 война и тишина —
На эти две —
 вся гамма мировая.
Полутонов я не воспринимаю.

Мир многозвучный!

Встань же предо мной

Всей музыкой своей невероятной!

Заведомо неполно и неверно

Пою тебя войной и тишиной.

* * *

Чужие люди почему-то часто
Рассказывают про свое: про счастье
И про несчастье. Про фронт и про любовь.
Я так привык все это слышать, слышать!
Я так устал, что я кричу: — Потихе! —
При автобиографии любой.

Все это было. Было и прошло.
Так почему ж быльем не порастает?
Так почему ж гудит и не смолкает?
И пишет мной!
Какое ремесло
У човековеда, у поэта,
У следователя, у политрука!
Я — ухо мира! Я — его рука!
Он мне диктует. Ночью до рассвета
Я не пишу — записываю. Я
Не сочиняю — излагаю были,
А опытность досрочная моя
Твердит уныло: это было, было...

Душа людская — это содержимое
Солдатского кармана, где всегда
Одно и то же: письмецо (любимая!),
Тридцатка (деньги!) и труха-руда —
Пыль неопределенного состава.
Табак? Песок? Крошеный рафинад?
Вы, кажется, не верите? Но, право —
Поройтесь же в карманах у солдат!

Не слишком ли досрочно я узнал,
Усвоил эти старческие истины?

Сегодня вновь я вглядываюсь пристально
В карман солдата, где любовь, казна,
Война и голод оставляли крохи,
Где все истерлось в бурый порошок —
И то, чем человеку
 хорошо,
И то, чем человеку
 плохо.

* * *

Про безымянных, про полузабытых
И про совсем забытых — навсегда,
Про тайных, засекреченных и скрытых,
Про мертвых, про сожженных, про убитых,
Про вечных, как огонь или вода,

Я буду говорить, быть может, годы,
Настаивать, твердить и повторять.
Но знаю — списки рядовых свободы
Не переворошить, не исчерпать.

Иная вечность — им не суждена.
Другого долголетия им не будет.
Одев штампованные ордена,
Идут на смерть простые эти люди.

* * *

...Тяжелое, густое честолюбье,
Которое не грело, не голубило,
С которым зависть только потому
В бессонных снах так редко ночевала,
Что из подобных бедному ему
Равновеликих было слишком мало.

Азарт отрегулированный, с правилами
Ему не подходил.

И не устраивал
Его бескровный бой.

И он не шел
На спор и спорт.

С обдуманною яростью
Две войны: в юности и в старости —
Он ежедневным ссорам предпочел.

В политике он начинал с эстетики,
А этика пришла потом.

И этика
Была от сострадания — не в крови.
Такой характер в стадии заката
Давал — не очень часто — ренегатов
И — чаще — пулю раннюю ловил.

Здесь был восход характера. Я видел.
Его лицо, когда, из лесу выйдя,
Мы в поле напоролися на смерть.
Я в нем не помню рвения наемного,
Но милое, и гордое, и скромное
Решение,

что стоит умереть.

* * *

Скользили лыжи. Летали мячики.
Повсюду распространялся спорт.
И вот — появились мужчины-мальчики.
Особый — вам доложу я — сорт.
Тяжелорукие. Легконогие.
Бутцы, трусы, майки, очки.
Я многих знал. Меня знали многие —
Играли в шахматы и в дурачки.
Все они были легки на подъем:
Меня чаровала ихняя легкость.
Выпьем? Выпьем! Споем? Споем!
Натиск. Темп. Сноровистость. Ловкость!
Словно дым от чужой папиросы
Отводишь, слегка потрянув рукой,
Они отводили иные вопросы,
Свято храня душевный покой.
Пуда соли я с ними не съел.
Пуд шашлыку — пожалуй! Не менее!
Покуда в легкости их рассмотрел
Соленое, словно слеза, унижение.
Оно было потное, как рубаха,
Сброшенная после пробежки длинной,
И складывалось из дисциплины и страха —
Половина на половину.
Унизились и прошли сквозь казармы.
Сквозь курсы — прошли. Сквозь чистки —
прошли.

А прочие — сгнули, словно хазары.
И ветры их прах давно размели.

* * *

В любой библиотеке есть читатели —
Сражений и героев почитатели,
Читающие только о войне.

А рядом с ними приходилось мне
Глядеть людей и старше и печальнее,
Войну таскавших на своем горбу.

Они стоят и слушают в молчании,
Как выбирает молодость судьбу.

* * *

У Абрама, Исаака и Якова
Сохранилось немного от
Авраама,
Исаака,
Иакова —
Почитаемых всюду господ.

Уважают везде Авраама —
Прародителя и мудреца.
Обижают повсюду Абрама,
Как вредителя и подлеца.

Прославляют везде Исаака,
Возглашают со всех алтарей.
А с Исааком обходятся всяко
И пускают не дальше дверей.

С той поры, как боролся Иаков
С богом
и победил его бог,
Стал он Яковом.
Этот Яков
Под любым зодиаком убог.

* * *

Почему люди пьют водку?
Теплую, противную —
Полные стаканы
Пошлого запаха
И подлого вкуса?
Потому что она врывается в глотку,
Как добрый гуляка
В баптистскую молельню,
И сразу все становится лучше.
В год мы растем на 12 процентов
(Я говорю о валовой продукции.
Война замедляла рост производства).
Стакан водки дает побольше.
Все улучшается на 100 процентов.
Война не мешает росту производства,
И даже стальные протезы инвалидов
Становятся теплыми живыми ногами —
Всё — с одного стакана водки.

Почему люди держат собаку?
Шумную, нелепую, любящую мясо
Даже в эпоху карточной системы?
Почему в эпоху карточной системы
Они никогда не обидят собаку?
Потому что собака их не обидит,
Не выдаст, не донесет, не изменит,
Любое достоинство выше оценит,
Любой недостаток простит охотно
И в самую лихую годину
Лизнет языком колбасного цвета
Ваши бледные с горя щеки.

Почему люди приходят с работы,
Запирают двери на ключ и задвижку,

Бросают на стол телефонную трубку
И пять раз подряд, семь раз подряд,
Ночь напролет и еще один разок
Слушают стертую, полуглухую,
Черную, глупую патефонную пластинку?
Слова истерлись, их не услышишь.
Музыка? Музыка еще не истерлась.
Целую ночь одна и та же.
Та, что надо. Другой — не надо.

Почему люди уплывают в море
На два километра, на три километра,
Хватит силы — на пять километров,
Ложатся на спину и ловят звезды
(Звезды падают в соседние волны)?
Потому что под ними добрая бездна.
Потому что над ними честное небо.
А берег далек — его не видно,
О берегу можно забыть, не думать.

* * *

Все скверное — раньше и прежде.
Хорошее — невдалеке.
Просторно мне в этой надежде,
Как в сшитом на рост пиджаке.
Мне в этой надежде привольно,
Как в поле, открытом для всех.
Не верится в долгие войны,
А верится в скорый успех.

* * *

Я сегодня — шучу.
Я своей судьбой — верчу.
Я беру ее за кубические,
Как у толстой вдовы, бока
И слова говорю комические,
Потому что — шучу. Пока.
— Вековуха моя, перестарок,
Будь довольна, что я — верчу.
Завтра я шутить перестану,
А пока — ничего. Шучу.

ЧЕЛОВЕК

Царь природы, венец творенья
Встал за сахаром для варенья.

За всеведением или бессмертием
Он бы в очередь эту не влез,
Но к вареньям куда безмерней
И значительней интерес.

Метафизикам не чета я,
И морали ему не читаю.

Человек должен сытно кушать
И чай с вареньем пивать.
А потом про бессмертие слушать
И всезнаньем мозги забивать.

* * *

Грехи и огрехи,
Враги и овраги
Не стоят чернила,
Не стоят бумаги,
Не стоит чернила
Все то, что чернило,
Все то, что моральный
Ущерб причинило.
Пишите-ка оды,
Где слово «народы»
Неточно рифмуют
Со словом «свободы».
Пишите баллады,
Где слово «победы»
Прекрасно рифмуют
Со словом «обеда».
Я ваши таланты
Весьма почитаю
И ваши баллады
Всегда прочитаю.

ЛЕНИНСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ НОРМА

Должна быть мастерская,
А в мастерской —
Свет, чистота, покой.

Немыслимы, бессмысленны
Будущего контуры
Без отдельной комнаты.

Комната. Она
На каждого одна
Должна быть.

С врезанной в дверях
Сталью замка.
Звонок тоже необходим пока.

Хошь — затворяй.
Хошь — не затворяй.
Свой отдельный рай.

С людьми живешь и дышишь,
Но только не попишешь,
Не сотворишь в толпе.

И стих и человек
Не на людях творятся,
И надо затворяться
На это время.

* * *

Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только дураки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война — была.
Четыре года.
Долгая была война.

ПАМЯТЬ

1957

ПАМЯТНИК

Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлому,
 мертвому,
 мокрому
 камню,

Но вышло,
 что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
Что славное дело,
 почетная служба,
Большая задача поручена мне.

— Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, подымайся! —
 Я встал и поднялся,
И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
 а был я живым.

Расту из хребта,
 как вершина хребта.
И выше вершин
 над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
Не взятая мною в бою высота.

Здесь скалы
от имени камня стоят.
Здесь сокол
от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.
От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!
Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
освобожденной страны.
Где графские земли
вручал
батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
Где в скалах не сыщется
малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя.

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
 безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи
 в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
 на площадь
 выводят лошадь,
Живую
 сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли
 неравно,
Пока по конине молотим зубами, —
О бюргеры Кельна,
 да будет вам срамно!

О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме
 с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо
 солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
 скребем ногтями,
Стоном стонем
 в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

ГОРА

Ни тучки. С утра — погода.
И значит, снова тревоги.
Октябрь сорок первого года.
Неспешно плывем по Волге —
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке литровку.
Радио, черное блюдо,
Тоскливо рычит несчастья:
Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли,
Глотку сжимает ворот.
Все мы стихли,

примолкли.

Но — подплывает город.
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем.
Здесь погрузим продукты.
Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, дóбро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.
К ней подъезжали танки,

К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же не убывала
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра.
Без жалости и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Покуда солдата с тыла
Ржаная гора обстала,
В нем кровь еще не остыла,
Рука его не устала.
Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караван
И громоздят их — до неба!

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
 вот здесь
 безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
 слогов
 строки.

Здесь
 ставший клубом
 бывший сельский храм—
Лежим
 под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам—
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
 Здесь
 ад
 ревмя
 ревет!
На глиняном истоптанном полу
Томится пленный,
 раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
 на приземистом топчане,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.

Он. Нарушает. Молчанье.

Кричит!

(Шепотом — как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,

рыжий,

ржавый

унтер прусский

Не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,

Оглаживает,

гладит гимнастерку

И плачет,

плачет,

плачет

горько,

Что эта просьба не соблюдена.

Лежит подбитый унтер на полу.

А в двух шагах, в нетопленном углу,

И санитар его, покорного,

Уносит прочь, в какой-то дальний зал,

Чтобы он

своею смертью черной

Комбата светлой смерти

не смущал.

И снова ниспадает тишина.

И новобранца

наставляют воины:

— Так вот оно,

какая

здесь

война!

Тебе, видать,

не нравится

она—

Попробуй

перевоевать

по-своему!

Гитлер! Вот он, к стене прижат!

Залп. Гитлер падает у стены.

(Утром самые сладкие сны.)

Рассвет — это значит:

раз — свет!

Два — свет!

Три — свет!

Во имя света для всей земли

По темноте — пли!

Солнце!

Всеми лучами грянь!

Ветер!

Суши росу!

...Ах, какая бывает рань

В прифронтовом лесу!

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В ПАРТИЮ

Я засветло ушел в политотдел
И за полночь добрался до развалин,
Где он располагался. Посидел,
Газеты поглядел. Потом — позвали.

О нашей жизни и о смерти
мыслящая,
Все знающая о добре и зле,
Бригадная партийная комиссия
Сидела прямо на сырой земле.

Свеча горела. При ее огне
Товарищи мои сидели старшие,
Мою судьбу партийную решавшие,
И дельно говорили обо мне.

Один спросил:
— Не сдрейфишь?
Не сбрешьшь?
— Не струсит, не солжет, —
другой сказал.

А лунный свет, валивший через бреши,
Светить свече усердно помогал.

И немцы пять снарядов перегнали,
И кто-то крикнул про житье-бытье,
И вся война лежала перед нами,
И надо было выиграть ее.

И понял я,
что клятвы не нарушу,
А захочу нарушить — не смогу,

И по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.

Привокзальный Ленин мне снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.

Закладывались основы
литературного стиля.
Полкилометра от смерти —
таков был глубокий тыл,
В котором работал писарь.
Это ему не мешало.
Он,
согласно инструкций,
в точных словах воплотил
Все,
что, согласно инструкций,
ему воплотить надлежало.
Если ефрейтор Сидоров был ранен в честном бою,
Если никто не видел
тот подвиг его
благородный,
Лист из блокнота выдрав,
фантазию шпоря свою,
Писарь писал ему подвиг
длиною в лист блокнотный.
Если десятиклассница кричала на эшафоте,
Если крестьяне вспомнили два слова:
«Победа придет!»
Писарь писал ей речи,
писал монолог,
в расчете
На то,
что он сам бы крикнул,
взошедши на эшафот.
Они обо всем написали
слогом простым и живым,
Они нас всех прославили,
а мы
писарей
не славим.
Исправим же этот промах,
ошибку эту исправим
И низким,
земным поклоном
писаря
поблагодарим!

ЗАДАЧА

— Подобрать троих для операции!
Вызвалось пятнадцать человек.
Как тут быть,

на что тут опираться?

Ошибешься — не простят вовек,
Офицер из отделенья кадров,
До раненья ротный политрук,
Посадил охотников под карту
И не сводит глаз с дубленых рук.
Вот сидят они,

двадцатилетние,

Теребят свои пилотки летние
В зимних,

в обмороженных руках.

Что прочтешь в опущенных глазах?
Вот сидят они,

благоразумные,

Тихие и смирные сверх смет,
Выбравшие

верную, обдуманную,

Многое решающую

смерть.

Ихние родители

не спрошены,

Ихние пороки

не запрошены,

Неизвестны ихние дела.

Ихние анкеты потревожены.

Вот и все. Лежат в углу стола.

Сведения.

Сведения.

Сведения —

Куцые — на краешке стола.

О наука человековедения!

Твой размах не свыше ремесла.

Как тут быть,

на что тут опираться,

Если три часа до операции?

ИТАЛЬЯНЕЦ

В конце войны
 в селе Кулагино
Разведчики гвардейской армии
Освободили из концлагеря
Чернявого больного парня.
Была весна и наступление.

Израненный и обмороженный,
До полного выздоровления
В походный госпиталь положенный,
Он отлежался, откормился,
С врачами за руку простился.
И началось его хождение
(Как это далее изложено).
И началось его скитание
В Рим!

 Из четвертого барака.
Гласила «Следует в Италию»
Им

 предъявляемая справка.
Через двенадцать язык,
Четырнадцать держав
Пошел он,

 эту справку сжав,
К своей груди
 прижав.

Из бдительности
 ежедневно
Его подробнее допрашивали.
Из сердобольности

 душевной
Кормили кашею
 трехразовую.

Он шел и шел за наступлением

И ждал без всякого волнения
Допроса,
 а затем обеда,
Справку
 загодя
 показывая.

До самой итальянской родины
Дорога минами испорчена.
За каждый шаг,
 им к дому пройденный,
Сполна
 солдатской кровью
 плочено.

Он шел по танковому следу,
Прикрыт броней.
 Без остановки,
Шел от допроса до обеда
И от обеда до ночевки.
Чернявый,
 маленький,
 хорошенький,

Приятный,
 вежливый,
 старательный,
Весь, как воробышек, взъерошенный,
В любой работе очень тщательный:
Колол дрова для поваров,
Толкал машины — будь здоров! —
И плакал горькими слезами,
Закапывая мертвецов.
Ты помнишь их глаза,
 усталые,

Пустые,
 как пустые комнаты?
Тех глаз не забывай
 в Италии!
Ту пустоту простую
 помни ты!

Ты,
 проработавший уставы
Сельхозартели и военные,
Прослушавший на всех заставах
Политбеседы откровенные,
Твердивший буквы вечерами,

Читавший сводки с шоферами,
Ты,
 овладевший политграммой
Раньше итальянской грамоты!
Мы требуем немного —
 памяти.

Пускай запомнят итальянцы
И чтоб французы не забыли,
Как умирали новобранцы,
Как ветеранов хоронили,
Пока по танковому следу
Они пришли в свою победу.

О ПОГОДЕ

1

Я помню парады природы
И хмурые будни ее,
Закаты альпийской породы,
Зимы задунайской нытье.

Мне было отпущено вдоволь —
От силы и невпроворот —
Дождя монотонности вдовьей
И радуги пестрых ворот.

Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил, — забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.

Шагали солдаты по свету —
Истертые ноги в крови.
Вот это,

 друзья мои, это
Внимательной стоит любви.

Готов отказаться от парков
И в лучших садах не бывать,
Лишь только б не жарко, не парко,
Не зябко солдатам шагать.

Солдатская наша порода
Здесь как на ладони видна:
Солдату нужна не природа,
Солдату погода нужна.

ЗАСУХА

Лето сорок шестого года.
Третий месяц жара, — погода.
Я в армейской больнице лежу
И на палые листья гляжу.

Листья желтые, листья палые
Ранним летом сулят беду.
По палате, словно по палубе,
Я, пошатываясь, бреду.

Душно мне.
Тошно мне.
Жарко мне.
Рань, рассвет, а такая жара!
За спиною шлепанцев шарканье,
У окна вся палата с утра.

Вся палата, вся больница,
Вся моя большая земля
За свои посевы боится
И жалеет свои поля.

А жара все жарче.
Нет мочи.
Накаляется листьев медь.
Словно в танке танкисты,
молча

Принимают
 колосья
 смерть.

Реки, Гитлеру путь
 преграждавшие,
Обнажают песчаное дно.

МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не золото-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.

На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.

Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:

Смежив глаза суровые,
Здесь,
 рядом,
 дети спят.

ПЕРЕРЫВ

На строительстве был перерыв—
Целый час на обед и на роздых.
Полземли прокопав и прорыв,
Выбегали девчата на воздух.
Покупали в киоске батон,
Разбивали арбуз непочатый.
Это полперерыва. Потом
Полчаса танцевали девчата.

Патефон захрипел и ослаб,
Дребезжа перержавленной жестью, —
И за это покрыт был прораб
Мелодической руганью женской.

Репродуктор эфир начинал
Популярнейших песен словами.
Если диктор статью начинал,
Так они под статью танцевали.

Под звонок, под свисток, под гудок —
Лишь бы ноги ритмично ходили.
А потом отошли в холодок,
Посидели, все обсудили.
И, косынками косы накрыв,
На работу —
 по сходням
 дощатым!

Вот как много успели девчата
За обеденный перерыв!

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.
А вдова Ковалева все помнит о нем,
И дорожки от слез — это память о нем,
Столько лет не забудет никак!
И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.
Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет!—
Я сажусь, постаравшись к портрету спиной,
Но бесшумно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцевитый стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острою.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.

ГОЛОС ДРУГА

Памяти поэта Михаила Кульчицкого

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

ГЛУХОЙ

В моей квартире живет глухой —
Четыре процента слуха.
Весь шум — и хороший шум
и плохой—
Не лезет в тугое ухо.

Весь шепот мира,
весь шорох мира,
Весь плеск,
и стон,
и шелест мира —
Все то, что слышит наша квартира,
Не слышит глухой из нашей квартиры

Но раз в неделю,
в субботний вечер,
Сосед включает радиоящик
И слушает музыку,
слушает речи,
Как будто слух у него настоящий.

Он так поворачивает регулятор,
Что шорох мира становится
громом,
Понятен и ясен хоть малым ребятам,
Как почерк вывесок,
прям и огромен.

В двенадцать часов,
как всегда аккуратны,
На Красной площади бьют куранты.
Потом тишина прерывается гимном,
И гимн гроыхает,
как в маршевой роте,

Как будто нам вновь победить иль погибнуть
Под эти же звуки
на Западном фронте.

...А он к приемнику привалился,
И слышно, слышно, слышно соседу
То, чего он достиг, добился, —
Трубный голос нашей победы.

Он слово ее понимает,
Музыку он, глухой, слышит,
И в комнате, понимает,
Родина словно ветром колышет—
крылья свои поднимает.

РАБОЧАЯ ПЕСНЯ

Завьяловский хор стариков
Поет на эстраде фабричной.
Напев словно с детства знаком —
Старинный, бывалый, привычный.

Негромко поют старики
Слабеющими голосами.
Топорщатся их пиджаки,
И слышится в песне: «Мы — сами !

Мы сами
 сложили слова,
Мы сами
 мотив подобрали,
Мы с этой же песней
 для вас
Россию у бар отобрали».

Негромко поют старики,
Устали, должно быть, старухи,
И песни то слишком резки,
То словно бы слабы и глухи.

Они за рабочий народ
Полвека уже выступают —
Поют, говорят, убеждают.
Устали — ну что же!
 И вот
Весь зал в эту песню вступает.
Мы, как по сигналу,
 встаем
И старую песню поем.

ОДНОФАМИЛЕЦ

В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.

А той травой могила поросла,
А та могила называлась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.

Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник хранит,
Предстали пред глазами пред моими.

Все буквы — семь — сходились у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной светились.

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал,
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
 как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
 спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
 война
 и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
 матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
 занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
 забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!»—
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянную стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
 парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В те годы утром я учился сам,
А вечером преподавал историю
Для тех ее вершителей, которые
Историю вершили по утрам:
Для токарей, для слесарей, для плотников,
Встававших в полшестого, до гудка,
Для государства нашего работников,
Для деятелей стройки и станка.

Я был и тощ и невысок, а взрослые —
Все на подбор, и крупные и рослые,
А все-таки они день ото дня
Все терпеливей слушали меня.

Работавшие день-деньской, усталые,
Они мне говорили иногда:
— Мы пожилые. Мы еще не старые.
Еще учиться не ушли года. —
Работавшие день-деньской, до вечера,
Карандашей огрызки очиня,
Они упорно, сумрачно и вежливо
И терпеливо слушали меня.

Я факты объяснял,
а точку зрения
Они, случалось, объясняли мне.
И столько ненависти и презрения
В ней было
к барам,
к Гитлеру,
к войне!

Локтями опершись о подоконники,
Внимали мне,
морщина глыбы лбов,

Чапаева и Разина поклонники,
Сторонники
 голодных и рабов.

А я гордился честным их усердием,
И сам я был
 внимателен, как мог.
И радостно,
 с открытым настажь сердцем,
Шагал из института на урок.

СЧАСТЬЕ

Л. Мартынову

Словно луг запа́х
В самом центре городского быта:
Человек прошел, а на зубах
Песенка забыта.
Гляньте-ка ему вослед —
Может, пьяный, а скорее нет.

Все решили вдруг:
Так поют после большой удачи, —
Скажем, выздоровел друг,
А не просто выстроилась дача.
Так поют, когда вернулся брат,
В плен попавший десять лет назад.

Так поют,
Разойдясь с женою нелюбимой,
Ненавидимой, невыносимой,
И, сойдясь с любимой, так поют,
Со свиданья торопясь домой,
Думая: «Хоть час, да мой!»

Так поют,
Если с плеч твоих беда свалилась, —
Целый год с тобой пить-есть садилась,
А свалилась в пять минут,
Если эта самая беда
В дверь не постучится никогда.

Шел и пел
Человек. Совсем не торопился.
Не расхвастался и не напился!
Удержался все же, утерпел.
Просто — шел и пел.

ТРИ СЕСТРЫ

Я разобрал рязанскую игрушку,
Изображавшую старушку,
Со вложенной в нее еще одной
Старушкой вырезной.
Три круглых бабы в красных сарафанах,
Три добрых, ладных, гладких, деревянных
Предстали на ладони предо мной.

Я вспомнил комнату, где на рояле
Три этих женщины всегда стояли
Как символ дома и как герб семьи,
И вас, живые женщины мои,
Похожих до смешного друг на друга
И на прабабку — важную старуху
(В шкафу альбом и локонов струи).

Когда бы вы туда ни забрели,
Мужчин — как будто не изобрели,
Как будто их забыли.

И к тому же
Я не слышал о сыне или муже,
Отце и брате
этих трех сестер.
(Так, верно, и зовут их до сих пор.)

Пекли, варили, шили, прибирали,
Друг дружку деловито пробирали,
И вновь варили, шили и пекли,
И на работу, как и все, ходили,
А ежели подкову находили,
Ее домой торжественно несли.

Добра не ищут от добра.

И та

Подкова

ни к чему была, пожалуй.

Седины бабки,

внучки красота

И матери

спокойный и усталый,

Довольный,

ничего не ждущий взор —

Все было ладно в доме трех сестер.

Я взял игрушку,

и опять собрал,

И ткнул ее в какой-то дальний ящик,

Чтоб вид ее

мне не напоминал

Тех трех—

не деревянных, настоящих.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать.
Но — нехорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава», —
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотях?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их—
Рыжих, не увидевших земли.

ЗООПАРК НОЧЬЮ

Зоопарк, зверосад, а по правде—
так зверотюрьма, —
В полумраке луны показал мне свои терема.
Остров львиного рыка
В океане трамвайного рева
Трепыхался, как рыбка
На песке у сапог рыболова.
И глухое сочувствие тихо во мне подымалось:
Величавость слонов, и печальная птичья малость,
И олень, и тюлень, и любое другое зверье
Задевали и трогали
Сердце мое.
В каждой клетке — глаза —
Словно с углями ящик...
Но проходят часы,
И все меньше горящих,
Потухает и гаснет в звериных глазах,
И несчастье
Спускается на тормозах...
Вот крылами накрыла орленка орлица,
Просто крыльями,
Просто птенца,
Просто птица.
Львица видит пустыню в печальном и
спутанном сне.
Белке снится, что стынет
Она на таежной сосне.
И старинное слово: «Свобода!»
И древнее: «Воля!»
Мне запомнились снова
И снова задели до боли.

ГУДКИ

Я рос в тени завода
И по гудку, как весь район, вставал —
Не на работу:

я был слишком мал —
В те годы было мне четыре года.
Но справа, слева, спереди — кругом
Ходил гудок. Он прорывался в дом,
Отца будя и маму поднимая.
А я вставал
И шел искать гудок, но за домами
Не находил:
Ведь я был слишком мал.

С тех пор, и до сих пор, и навсегда
Вошло в меня: к подъему ли, к обеду
Гудят гудки — порядок, не беда,
Гудок не вовремя — приносит беды.

Не вовремя в тот день гудел гудок,
Пронзительней обычного и резче,
И в первый раз какой-то странный, вещий
Мне на сердце повеял холодок.

В дверь постучали, и сосед вошел,
И так сказал — я помню все до слова:
— Ведь Ленин помер. —
И присел за стол.
И не прибавил ничего другого.

Отец вставал,
садился,
вновь вставал.
Мать плакала,
склонясь над малышами.
А я был мал
и что случилось с нами—
Не понимал.

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

Я на медные деньги учился стихам,
На тяжелую, гулкую медь,
И набат этой меди с тех пор не стихал,
До сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку дает мне пятак,
А позднее — и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал так,
Покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал—
Дешевизною Пушкин зато поражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
А в читальнях ломились они
От стиха,
 от безмерной его красоты.
Я в читальнях просиживал дни.
Весь квартал наш
 меня сумасшедшим считал,
Потому что стихи на ходу я творил,
А потом на ходу, с выраженьем, читал,
А потом сам себе: «Хорошо!» — говорил.
Да, какую б тогда я ни плел чепуху,
Красота, словно в коконе, пряталась в ней.
Я на медную мелочь
 учился стиху.
На большие бумажки
 учиться трудней.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Я жил над музыкальной школой.
Меня будил проворный, скорый,
Быстро поспешный перебряк:
То гармонисты, баянисты,
А также аккордеонисты
Гоняли гаммы так и сяк.
Позднее приходили скрипки,
Кларнет, гитара и рояль.
Весь день на звуке и на крике
Второй, жилой этаж стоял.
Все только музыки касалось —
Одной мелодии нагой,
И даже дом, как мне казалось,
Притопывает в такт ногой.
Он был проезжею дорогой —
Веселой, грязной и широкой,
Открытой настежь целый день
Для прущих к музыке людей.
Я помню их литые спины
И не забуду до конца
Замах рублевый кузнеца
Над белой костью пианино.
Как будто бы земля сама
На склоне лет брала уроки,
Гремели из дому грома,
Певцы ревели, как пророки.
А наш второй этаж, жилой,
Оглохнув от того вокала,
Лежал бесшумною золой
Над красным пламенем вулкана.

БЛУДНЫЙ СЫН

Истощенный нуждой,
Истомленный трудом,
Блудный сын возвращается в отческий дом
И стучится в окно осторожно.

— Можно?

— Сын мой! Единственный! Можно!
Можно все. Лобызай, если хочешь, отца,
Обгрызай духовитые кости тельца.
Как приятно, что ты возвратился!
Ты б остался, сынок, и смирился.—
Сын губу утирает густой бородой,
Поедает тельца,
Запивает водой,
Аж на лбу блещет капелька пота
От такой непривычной работы.
Вот он съел, сколько смог.
Вот он в спальню прошел,
Спит на чистой постели.
Ему — хорошо!
И встает.
И свой посох находит.
И, ни с кем не прощаясь, уходит.

С НАШЕЙ УЛИЦЫ

Не то чтобы попросту шлюха,
Не то чтоб со всеми подряд,
Но все-таки тихо и глухо
Плохое о ней говорят.
Но вот она замуж решает,
Бросает гулять наконец
И в муках ребенка рожает —
Белесого,
 точно отец.
Как будто бы
 содою с мылом,
Как будто отребья сняла,
Она отряхнула и смыла
Все то, чем была и слыла.
Гордясь красотою жестокой,
Она по бульвару идет,
А рядышком
 муж синеокий
Блондина-ребенка несет.
Злорадный, бывалый, прожженный
И хитрый
 бульвар
 приуныл:
То сын ее,
 в муках рожденный,
Ее от обид заслонил.

* * *

Музыка на вокзале,
Играющая для всех:
Чтоб мимоездом взяли
Плач на память
и смех.

Многим ты послужила,
Начатая давно,
Песенка для пассажиров,
Выглянувших в окно.

Диктор какой-то нудный
Рядом с тобою живет:
Еже-почти-минутно
Режет тебя и рвет.

Все же в транзитном зале
Слушают не дыша.
Музыка на вокзале!
Значит, ты хороша.

Значит, гудки не мешают
Песне греметь с утра.
Музыка, ты большая.
Музыка, ты добра.

Не уставай, работай!
Век тебя слушать готов.
Словно море у борта —
Музыка вдоль поездов.

* * *

Толпа на Театральной площади,
Вокруг столичный люд шумит.
Над ней четыре мощных лошади,
Пред ней экскурсовод стоит.

У Белорусского и Курского
Смотреть Москву за пять рублей
Их собирали на экскурсию —
Командировочных людей.

Я вижу пиджаки стандартные —
Фасон двуборт и одноборт,
Косоворотки аккуратные,
Косынки тоже первый сорт.

И старые и малолетние
Глядят на бронзу и гранит, —
То с горделивым удивлением
Россия на себя глядит.

Она копила, экономила,
Она вприглядку чай пила,
Чтоб выросли заводы новые,
Громады стали и стекла.

И нету робости и зависти
У этой вот России к той,
И та Россия этой нравится
Своей высокой красотой.

Здрав башку и тщетно селясь
Запомнить каждый новый вид,
Стоит хозяин и кормилец,
На дело рук своих
 глядит.

* * *

У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах, —
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке, —
О том, о чем за водкой говорят!

Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Воображать все люстры ресторана
Московского!

В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.
Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.

Официант нес пиво и жаркое
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —
что такое?—

О том, как мы в блиндажике сидим,
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит орудийный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.

О счастье в мелочах. Не в основном.

БУХАРЕСТ

Капитан уехал за женой
В тихий городок освобожденный,
В маленький, запущенный, ржаной,
В деревянный, а теперь сожженный.

На прощанье допоздна сидели,
Карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.

Раньше месяца на три недели
Капитан вернулся — без жены.

Пироги, что повара пекли —
Выбросить велит он поскорее,
И меняет мятые рубли
На хрустящие, как сахар, леи.

Белый снег валит над Бухарестом.
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек расспрашивая,
Ищет он, шатаясь день-деньской,
Русую или хотя бы крашеную,
Но глаза чтоб серые, с тоской.

Русая или, скорее, крашеная
Понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают — вперед.
Вздрагивая, девушка берет.

На спине гостиничной кровати
Голой, словно банщик, купидон.

— Раздевайтесь. Глаз не закрывайте, —
Говорит понуро капитан.

— Так ложитесь. Руки — так сложите.
Голову на руки положите.

— Русский понимаешь? — Мало очень.
— Очень мало — вот как говорят.

Черные испуганные очи
Из-под черной челки не глядят.

— Мы сейчас обсудим все толково.
Если не поймете — не беда.
Ваше дело — не забыть два слова:
Слово «нет» и слово «никогда».
Что я ни спрошу у вас, в ответ
Говорите: «никогда» и «нет».

Белый снег всю ночь валом валит,
Только на рассвете затихает.
Слышно, как газеты выкликают
Под окном горластый инвалид.

Слишком любопытный половой,
Приникая к щелке головой,
Снова,
Снова,
Снова

 слышит ворох
Всяких звуков, шарканье и шорох,
Возгласы, названия газет
И слова, не разберет которых —
Слово «никогда» и слово «нет».

* * *

Пред наших танков трепеща судом,
Навстречу их колоннам подходящим
Горожане города Содом
Единственного праведника тащат.

Непризнанный отечеством пророк,
Глас, вопиющий без толку в пустыне,
Изломанный и вдоль, и поперек,—
Глядит на нас глазами пустыми.

В гестапо бьют в челюсть. В живот.
В молодость. В принципы. В совесть.
Низводят чистоту до нечистот.
Вгоняют человеческое в псовость.

С какой закономерностью он выжил!
Как много в нем осталось от него!
Как из него большевика не выжал,
Не выбил лагерь многолетней!

Стихает гул. Смолкают разговоры.
Город ожидают приговоры.

Вот он приподнялся на локтях,
Вот шепчет по-немецки и по-русски:
Ломайте! Перестраивайте! Рушьте!
Здесь нечему стоять! Здесь все не так!

ДОМОЙ

То ли дождь, то ли снег,
То ли шел, то ли нет,
То морозило,
То моросило.
Вот в какую погоду,
Поближе к весне,
Мы вернулись до дому,
В Россию.
Талый снег у разбитых перронов —
Грязный снег, мятый снег, черный снег —
Почему-то обидел нас всех,
Чем-то давним
 и горестным тронув.
Вот он, дома родного порог, —
Завершение дорог,
Новой жизни начало!
Мы, как лодки,
 вернулись к причалу.
Что ты стелешься над пожарищем?
Что не вьешься над белой трубой?
Дым отечества?
 Ты — другой,
Не такого мы ждали, товарищи.
Постояв, поглядев, помолчав,
Разошлись по вагонам солдаты,
Разобрали кирки и лопаты
И, покуда держали состав,
Так же молча, так же сердито
Расчищали перрон и пути —
Те пути, что войною забиты,
Те пути,
 по которым идти.

ФОТОГРАФИИ КАРТИН, СОЖЖЕННЫХ ОККУПАНТАМИ

На выставке, что привезли поляки,
Пируют радуга и красота,
Зеленые весенние полянки,
Нескошенного луга пестрота,
Все краски, все оттенки, все цвета!

А я стоял пред черной, как смола —
Черней смолы! — у черной, как пожарище —
Перед картиной польского товарища,
Что на костер, как человек, взошла.

Их много, черных пятен на стене,
Сухих, фотографических теней,
Миниатюр и фресок двухсаженных,
Замазанных, изрезанных, сожженных,
Замученных за красный флаг на них,
За то, что в них свобода, труд и Польша,
За то, что справедливее и больше
Они картин оставленных иных.

Среди поляков и среди полотен
Враг — лучших, самых смелых выбирал.
Но подвиг живописцев — не бесплоден
И никогда бесплоден не бывал:
Девчонки, что глаза платочком трут,
И парни — те, что кулаки сжимают,
Здесь, у холстов обугленных, мечтают,
Что если будет враг ценить их труд —
Пускай сожжет. Пускай — не оставляет.

* * *

Туристам показываю показательное:
Полную чашу, пустую тюрьму.
Они проходят, как по касательной,
Почти не притрагиваясь ни к чему.

Я все ожидаю, что иностранцев
Поручат мне: показать, объяснить.
В этом случае — рад стараться.
Вот она, путеводная нить.

Хотите, представлю вас инвалидам,
Которые в зной, мороз, дожди
Сидят на панели с бодрым видом,
Кричат проходящим: «Не обойди!»

Вы их заснимете. Нет, обойдете.
Вам будет стыдно в глаза смотреть,
Навек погасшие в фашистском доте,
На тело, обрубленное на треть.

Хотите, я покажу вам села,
Где нет старожилы — одни новоселы?
Все, от ребенка до старика,
Погибли, прикрывая вашу Америку,
Пока вы раскачивались и пока
Отчаливали от берега.

Хотите, я покажу вам негров?
С каким самочувствием увидите вы
Бывших рабов,

будущих инженеров.

Хотите их снять на фоне Москвы?

И мне не нравятся нежные виды,
Что вам демонстрируют наши гиды.
Ну что же! Я времени не терял.
Берите, хватайте без всякой обиды
Подготовленный материал.

* * *

Пристальность пытливаю не пряча,
С диким любопытством посмотрел
На меня

 угрюмый самострел.
Посмотрел, словно решал задачу.

Кто я — дознаватель, офицер?
Что дознаю, как расследую?
Допущу его ходить по свету я
Или переправлю под прицел?

Кто я — злейший враг иль первый друг
Для него, преступника, отверженца?
То ли девять грамм ему отвешено,
То ли обойдется вдруг?

Говорит какие-то слова
И в глаза мне смотрит,
Взгляд мой ловит,
Смотрит так, что в сердце ломит
И кружится голова.

Говорю какие-то слова
И гляжу совсем не так, как следует.
Ни к чему мне страшные права:
Дознаваться или же расследовать.

* * *

Я судил людей и знаю точно,
Что судить людей совсем не сложно, —
Только погода бывает тошно,
Если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.
Хорошо быть педагогом школьным,
Иль сидельцем в книжном магазине,
Иль судьей... Каким судьей? Футбольным:
Быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
То они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
Вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —
Как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.

ГОВОРIT ФОМА

Сегодня я ничему не верю:
Глазам — не верю.
Ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю,
Если на ощупь — все без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,
Печальные пленные 45-го года,
Стоявшие — руки по швам — на допросе.
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!
— А мне вы верите? — Минута молчанья.
— Господин комиссар, я вам не верю.
Все пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Если бы я превратился в ребенка,
Снова учился в начальной школе,
И мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
Нашел бы эту самую Волгу,
Спустился бы вниз по течению к морю,
Умылся его водой мутноватой
И только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
Я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
Потом — худые соломенные крыши,
Потом их гнали в Харьков на свалку.

Я лично видел своими глазами
Суровых, серьезных, почти что важных
Гнедых, караковых и буланых,
Молча, неспешно бродивших по свалке.
Они ходили, потом стояли,
А после падали и долго лежали,
Умирали лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Все — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

КВАДРАТИКИ

В части выписывали «Вечерки»,
Зная: вечерние газеты
Предоставляют свои страницы
Под квадратики о разводах.

К чести этой самой части
Все разводки получали
По изысканному посланию
С предложеньем любви и дружбы.

Было не принято ссылаться
Ни на «Вечерки», ни на мужа,
Сдуру бросившего адресатку.
Это считалось нетактичным.

Было тактично, было прилично,
Было даже совсем отлично
Рассуждать об одиночестве
И о сердце, жаждущем дружбы.

Кроме затянувшейся шутки
И соленых мужских разговоров,
Сердце вправду жаждало дружбы
И любви и всего такого.

Не выдавая стрижки короткой,
Фотографировались в фуражках
И обязательно со значками
И обаятельной улыбкой.

Некоторые знакомые дамы
Мне показывали со смехом
Твердые квадратики фото
С мягкими надписями на обороте.

Их ответов долго ждали,
Ждали и не дождалась в части.
Там не любили писать повторно:
Не отвечаешь — значит, не любишь.

Впрочем, иные счастливые семьи
Образовались по переписке,
И, как семейная святыня,
Корреспонденция эта хранится:

В треугольник письма из части
Вложен квадратик о разводе
И еще один квадратик —
Фотографии твердой, солдатской.

БОЛЕЗНЬ

Досрочная ранняя старость,
Похожая, на поражение,
А кроме того — на усталость.
А также — на отраженье
Лица

 в сероватой луже,
В измытой водице ванной:
Все звуки становятся глуше,
Все краски темнеют и вянут.

Куриные вялые крылья
Мотаются за спиною.
Все роли мои — вторые! —
Являются передо мною.

Мелькают, а мне — не стыдно.
А мне — все равно, все едино.
И слышно, как волосы стынут
И застывают в седины.

Я выдохся. Я — как город,
Открывший врагу ворота.
А был я — юный и гордый
Солдат своего народа.

Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуванья.
А мне — приказы давали.
Потом — ордена давали.

Все, как ладонью, прикрыто
Сплошной головною болью —
Разбито мое корыто.
Сиж у него сам с собою.

Так вот она, середина
Жизни.
Возраст успеха.
А мне — все равно. Все едино.
А мне — наплевать. Не к спеху.

Забыл, как спускаться с лестниц.
Не открываю ставен.
Как в комнате,
Я в болезни
Кровать и стол поставил.
И ходят в квартиру нашу
Дамы второго разряда,
И я сочиняю кашу
Из пшеничного концентрата.
И я не читаю газеты,
А книги — до середины.
Но мне наплевать на это.
Мне все равно. Все едино.

БАЛЛАДА

В сутках было два часа — не более,
Но то были правильные два часа!
Навзничь опрокидываемый болью,
Он приподнимался и писал.
Рук своих уродливые звезды
Сдавливая в комья-кулаки,
Карандаш ловя, как ловят воздух,
Дело доводил он до строки.
Никогда еще так не писалось,
Как тогда, в ту старость и усталость,
В ту болезнь и боль, в ту полусмерть!
Все казалось: две строфы осталось,
Чтоб в лицо бессмертью посмотреть.
С тихой и внимательною злобой
Глядя в торопливый циферблат,
Он, как сталь выдерживает пробу,
Выдержал балладу из баллад.
Он загнал на тесную площадку —
В комнатенку с видом на Москву —
Двух противников, двух беспощадных,
Ненавидящих друг друга двух.
Он истратил всю свою палитру,
Чтобы снять подобие преград,
Чтоб меж них была одна политика —
Этот новый двигатель баллад.
Он к такому темпу их принудил,
Что пришлось скрести со всех закут
Самые весомые минуты —
В семьдесят и более секунд.
Стих гудел, как самолет на старте,
Весь раскачиваемый изнутри.
Он скомандовал героям: «Шпарьте!»
А себе сказал: «Смотри!»
Дело было сделано. Балладу

Эти двое доведут до ладу.
Вот они рванулись вперед!
Точка. Можно на подушки рухнуть,
Можно свечкой на ветру потухнуть.
А баллада — и сама дойдет!

* * *

Я не могу доверить переводу
Своих стихов жестокую свободу
И потому пройду огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.

Я инородец; я не иноверец.
Не старожил? Ну что же — новосел.
Я, как из веры переходят в ересь,
Отчаянно
 в Россию перешел.

Я правду вместе с кривдою приемлю —
Да как их разделить и расщепить.
Соленой струйкой зарываюсь в землю,
Чтоб стать землей
И все же — солью быть.

М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ

Одни верны России
 потому-то,
Другие же верны ей
 оттого-то,
А он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Его кормили.
 Но кормили — плохо.
Его хвалили.
 Но хвалили — тихо.
Ему давали славу.
 Но — едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
До смертного
 обдуманного
 крика

Поэт искал
 не славу,
 а слова.

Слова, слова.
 Он знал одну награду:
В том,
 чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать.
Есть кони для войны
 и для парада.
В литературе
 тоже есть породы.

КЛЮЧ

У меня была комната с отдельным ходом.
Я был холост и жил один.
Всякий раз, как была охота,
В эту комнату знакомых водил.

Мои товарищи жили с тещами
И с женами, похожими на этих тещ, —
Слишком толстыми, слишком тощими,
Усталыми, привычными, как дождь.

Каждый год старея на год,
Рожая детей (сыновей, дочерей),
Жены становились символами тягот,
Статуями нехваток и очередей.

Мои товарищи любили жен.
Они вопрошали все чаще и чаще:
— Чего ты не женишься? Эх ты, пижон!
Что ты понимаешь в семейном счастье?

Мои товарищи не любили жен.
Им нравились девушки с молодыми руками,
С глазами,
 в которые,
 раз погружен,
Падаешь,
 падаешь,
 словно камень.

А я был брезглив (вы, конечно, помните),
Но глупых вопросов не задавал.
Я просто давал им ключ от комнаты.
Они просили, а я — давал.

ЗЛЫЕ СОБАКИ

Злые собаки на даче
Ростом с волка. С быка!
Эту задачу
Мы не решили пока.

Злые собаки спокойно
Делают дело свое:
Перевороты и войны
Не проникают в жильё,
Где благодушный владелец
Многих безделиц,
Слушая лай,
Кушает чай.

Да, он не пьет, а вкушает
Чай.
За стаканом стакан.
И — между делом — внушает
Людам, лесам и стогам,
Что заработал
Этот уют,
Что за работу
Дачи дают.

Он заслужил, комбинатор,
Мастер, мастак и нахал.
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял по войне?
Скоро ли в нашей Отчизне
Дачу построят и мне?
Что-то не слышу
Толков про крышу.

Не торопиться
Мне с черепицей.
Исподволь лес не скупать!
В речке телес не купать!
Да, мне не выйти на речку,
И не бродить меж лесов,
И не повесить дощечку
С уведомленьем про псов.
Елки зеленые,
Грузди соленые —
Не про меня.

Дачные псы обозленные,
Смело кусайте меня.

* * *

С Алексеевского равелина
Голоса доносятся ко мне:
Справедливо иль несправедливо
В нашей стороне.

Нет, они не спрашивают: сыто ли?
И насчет одежды и домов,
И чего по карточкам не выдали —
Карточки им вовсе невдомек.

Черные, как ночь, плащи-накидки,
Блузки, белые как снег,
Не дают нам льготы или скидки —
Справедливость требуют для всех.

* * *

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
За что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе...
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

* * *

Все телефоны — не подслушаешь,
Все разговоры — не запишешь.
И люди пьют, едят и кушают,
И люди понемногу дышат,
И понемногу разгибаются,
И даже тихо улыбаются.
А телефон — ему подушкой
Заткни ушко —
И телефону станет душно,
И тяжело, и нелегко.
А ты — вздыхаешь глубоко
С улыбкою нескромною
И вдруг «Среди долины ровных»
Внезапно начинаешь петь,
Не в силах более терпеть.

* * *

А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.

Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы — припертые к стене —
В ней точку обрели опоры.

ПРО ЕВРЕЕВ

Еврей хлеба не сеют,
Еврей в лавках торгуют,
Еврей раньше лысеют,
Еврей больше воруют.

Еврей — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Еврей, еврей!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

В ЯНВАРЕ

Я кипел тяжело и смрадно,
Словно черный асфальт в котле.
Было стыдно. Было срамно.
Было тошно ходить по земле.
Было тошно ездить в трамвае.
Все казалось: билет отрывая,
Или сдачу передавая,
Или просто проход давая
И плечами задевая,
Все глядят с молчаливой злобой
И твоих оправданий ждут.

Оправдайся — пойдя, попробуй,
Где тот суд и кто этот суд,
Что и наши послушает доводы,
Где и наши заслуги учтут.

Все казалось: готовятся проводы
И на тачке сейчас повезут.

Нет, дописывать мне не хочется.
Это все ненужно и зря.
Ведь судьба — толковая летчица —
Всех нас вырулила из января.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В то утро в мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен — прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
Наедине с Москвой
И вот что думал, верно,
Как парень с головой:
Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
У штурмовавших небо.
Перемотать портянки
Присел на час народ,
В своих ботинках спящий
Невесть который год.

Нет, я не думал этого,
А думал я другое:
Что вот он был — и нет его,
Гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из пережыбшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти

И старые следы —
Тридцатилетней власти
Величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы —
Все, что воздвигнул Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

* * *

Не пуля была на излете, не птица—
Мы с нашей эпохой ходили

проститься.

Ходили мы глянуть на нашу судьбу,
Лежавшую тихо и смиренно в гробу.
Как слабо дрожал в светотрубках неон.
Как тихо лежал он — как будто не он.
Не черный, а рыжий, совсем низкорослый,
Совсем невысокий — седой и рябой,
Лежал он — вчера еще гордый и грозный,
И слывший и бывший всеобщей судьбой.

БОГ

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.

Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышинных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,
 мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

ХОЗЯИН

А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел,
А все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
Ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
Ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
Ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
Смотрел, смотрел,
 не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
Обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
Тот явный факт, что испокон веков
Таких, как я, хозяева не любят.

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

* * *

Начинается новое время —
Та эпоха, что после моей.
Это, верно, случилось со всеми.
Это многим досталось больней.
Очень многие очень честные,
Те, что издавна были честны,
Были, словно автобусы местные,
Безо всякого отменены.
Очень многие очень хорошие
За свое большое добро
Были брошены рваной калошею
В опоганенное ведро.
Я уволен с мундиром и пенсией,
Я похвастаться даже могу —
Отступаю, но все-таки с песнею,
Отхожу — не бегом бегу.
Буду смиреннько жить, уютненько,
Буду чай на газе греть.
Буду, словно собака из спутника,
На далекую землю глядеть.
Буду лесенкой или елочкой
Переводы кропать в тишине,
Буду, словно подросток, в щелочку
Озирать недоступное мне.
Буду думать о долге и совести,
Буду дружбу ценить и любовь.
Буду ждать, пока новые новости
Удивят эту старую новь.

* * *

Парторг вылетает четвертым,
Но первым вставал комиссар,
Живым подавая и мертвым
Пример,
 чтобы их потрясал.

Четвертым парторг вылетает
И знает: вернется в семью,
А ветер давно замечает
Простую могилу твою.

Товарищи комиссары,
Товарищи политруки,
Товарищи замполиты,
Что на ноги были легки,

Что спали по часу в неделю,
А ели — по сухарю.
Неужто вы не задели
Сердца!
 Я вам говорю!

Неужто красные звезды,
Горевшие на рукавах,
Упали и просто сгорели,
И ветер развеял прах.

Шинели стыдиться не хочется,
Бока укрывавшей едва,
Судьбы моей, словно летчица,
Выруливавшей на У-2,

Лозунгов, что выкрикивал,
Митингов, что проводил,
Окопа — я первым выпрыгивал,
Людей за собой выводил.

ДЕМАСКИРОВКА

Человека лишили улыбки
(Ни к чему человеку она),
А полученные по ошибке
Разноцветные ордена
Тоже сняли, сорвали, свинтили,
А лицо ему осветили
Темноглубизной синяков,
Чтобы видели, кто таков.

Камуфлированный человеком
И одетый, как человек,
Вдруг почувствовал, как по векам
В первый раз за тот полувек,
Что он прожил, вдруг расплывается,
Заливает ему глаза, —
«Как, — подумал он, — называется
Тепломокрое это?» —
слеза.

И стремившийся слыть железным
Покупает конверт с цветком,
Пишет: я хочу быть полезным.
Не хочу я быть дураком.
У меня хорошая память,
Языки-то я честно учил,
Я могу отслужить, исправить,
То, что я заслужил, отмочил.
Я могу восполнить потери,
Я найду свой правильный путь.
Мне бы должность сонной тетери
В канцелярии где-нибудь.

* * *

Осознавать необходимость
И называть ее свободой,
И признавать непобедимость,
И чувствовать поспешной одой —
Не торопитесь.

Для осознания нужно знание
Предмета, безо всякой узости.
А слишком скорое признание
Свидетельствует лишь о трусости,
А также — глупости.

ВЕРИЛ?

Я беру краткосрочный отпуск,
Добываю пропуск и допуск
И в большую читальню иду,
И выписываю подшивки,
И смотрю на большую беду,
Ту, что к старым газетам подшита.

Лица Постышева или Косарева,
Простота, прямота этих лиц:
Не воздали кесарю кесарево
И не пали пред кесарем ниц.
Вот они на заводах и стройках
Зажигают большие огни.
Вот они в сообщительных строках,
Что враги народа они.

Я в Дворце пионеров, в Харькове,
Где артисты читали Горького
И огромный кружок полярников
Летом ездил по полюсам,
Видел Павла Петровича Постышева.
Персонально видел. Я — сам.
Пионер — с 28-го,
Комсомолец — чуть погодя,
Сашу Косарева — мирового,
Комсомольского помню вождя.
Я по ихним меркам мерил
Все дела и слова всегда.
Мой ответ на вопрос: «Верил?»
— Верил им. Про них — никогда.

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Гамарнику, НачПУРККА, по чину
Не улицу, не площадь, а — бульвар.
А почему? По-видимому, причина
В том, что он жизнь удачно оборвал:

В Сокольниках. Он знал — за ним придут.
Гамарник был особенно толковый.
И вспомнил лес, что ветерком продут,
Веселый, подмосковный, пустяковый.

Гамарник был подтянут и высок
И знаменит умом и бороною.
Ему ли встать казанской сиротою
Перед судом?
Он выстрелил в висок.

Но прежде он — в Сокольники! — сказал.
Шофер рванулся, получив задание.
А в будни утром лес был пуст, как зал,
Зал заседанья после заседанья.

Гамарник был в ремнях, при орденах.
Он был острей, толковей очень многих,
И этот день ему приснился в снах,
В подробных снах, мучительных и многих.

Член партии с шестнадцатого года,
Короткую отбрасывая тень,
Шагал по травам, думал, что погода
Хорошая

в его последний день.

Шофер сидел в машине развалясь:
Хозяин бледен. Видимо, болеет.

А то, что месит сапогами грязь,
Так он сапог, наверно, не жалеет.

Погода занимала их тогда.
История — совсем не занимала.
Та, что Гамарника с доски снимала
Как пешку
и бросала в никуда.

Последнее, что видел комиссар
Во время той прогулки бесконечной:
Какой-то лист зеленый нависал,
Какой-то сук желтел остроконечный.

Поэтому-то двадцать лет спустя
Большой бульвар навек вручили Яну:
Чтоб веселилось в зелени дитя,
Чтоб в древонасаждениях — ни изъяну,

Чтоб лист зеленый нависал везде,
Чтоб сук желтел и птицы чтоб вещали.

И чтобы люди шли туда в беде
И важные поступки совершали.

* * *

Ни за что никого никогда не судили.
Всех судили за дело.
Например, за то, что латыш
И за то, что не так летишь
И крыло начальство задело.

Есть иная теория, лучшая —
Интегрального и тотального,
Непреодолимого случая,
Беспардонного и нахального.

Есть еще одна гипотеза —
Злого гения Люцифера,
Коммуниста, который испортился —
Карамзинско-плутархова сфера.

Почему же унес я ноги,
Как же ветер меня не потушил?
Я — не знаю, хоть думал много.
Я — решал, но еще не решил.

БЕДА

В ходе действия тридцать седьмого
Года
люди забыли покой.

Дня такого, ночи такой,
Может быть, даже часа такого, —
Я не помню, чтоб твердой рукой
Убедительно, громко, толково
Не стучала мне в окна беда,
Чтобы в двери она не стучала,
Приходила она — и молчала,
Не высказывалась никогда.

Как патроны солдат в окружении
Бережет для мостов и дорог,
Не для драки, а для сражения
Я себя аккуратно сберег.

Я прощал небольшие обиды,
Я не ссорился по мелочам.
Замечать их — всегда замечал.
Никогда — не показывал виду.

Не злопамятность и не мстительность.
Просто — память.
Личная бдительность.
В этом смысле мне повезло —
Помню все: и добро и зло.

Вспоминаю снова и снова,
Не жалею на это труды...
Это все от стука дневного
И ночного стука беды.

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ

Что за комиссия, создатель?
Опять, наверное, прощен
И поздней похвалой польщен
Какой-нибудь былой предатель,
Какой-нибудь неловкий друг,
Случайно во враги попавший,
Какой-нибудь холодный труп,
Когда-то весело писавший.

Комиссия! Из многих вдов
(Вдова страдальца — лестный титул!)
Найдут одну, заплатят долг
(Пять тысяч платят за маститых),
Потом романы перечтут
И к сонму общему причтут.

Зачем тревожить долгий сон?
Не так прекрасен общий сонм,
Где книжки переиздадут,
Дела квартирные уладят,
А зуб за зуб — не отдадут,
За око око — не уплатят!

ОДНОГОДКИ

Все умерли и все в одном и том же
Году. Примерно двадцать лет назад.
Те, кто писал потолще и потоньше,
Кто прожил тридцать, сорок, пятьдесят.

Какие разные года рожденья,
Какая пестрядь чисел, но зато
Тот год, как проволочное заграждение,
И сквозь него не прорвался никто:

Те, кто писал рассказы и романы,
Кто женолобом, кто аскетом был,
Те, кто любил прекрасные обманы,
И те, кто правду голую любил.

Они роились, словно пчелы в сотах,
Трудились в муравейнике своем,
Родились в девяностых, в девятьсотых,
Но сгнули в одном — в тридцать седьмом.

СЛАВА

Художники рисуют Ленина,
Как раньше рисовали Сталина,
А Сталина теперь не велено:
На Сталина все беды взвалены.

Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
Скорей — жестокое величество.

Холстины клетками расписаны,
И вот сажают в клетки тесные
Большие ленинские лысины,
Глаза раскосые и честные.

А трубки, а погоны Сталина
На бюстах, на портретах Сталина?
Все, гамузом, в подвалы свалены,
От пола на сажень навалены.

Лежат гранитные и бронзовые,
Написанные маслом, мраморные,
А рядом гипсовые, бросовые,
Дешевые и необрамленные.

Уволенная и отставленная,
Лежит в подвале слава Сталина.

* * *

Если б я был культом личности
И права имел подобные,
Я бы выдал каждой личности
Булку мягкую и сдобную.

Я людей бы не расстреливал,
Не томил их заключениями,
Я бы им ковры расстеливал,
Развлекал их развлечениями.

Если б я был культом личности,
Я б удрал, наверно, за море
От сознания неприличности
Культа этого вот самого,
Неприличности и лишности.

Если б я был культом личности,
Я без всяких околичностей
Запретил бы культы личности.

СОН — СЕБЕ

Сон после снотворного. Без снов.
Даже потрясение основ,
Даже революции и войны—
Не разбудят. Спи спокойно,
Человек, родившийся в эпоху
Войн и революций. Спи себе.
Плохо тебе, что ли? Нет, не плохо.
Улучшенье есть в твоей судьбе.
Спи — себе. Ты раньше спал казне
Или мировой войне.
Спал, чтоб встать и с новой силой взяться.
А теперь ты спишь — себе.
Самому себе.
Можешь встать, а можешь поваляться.
Можешь встать, а можешь и не встать.
До чего же ты успел устать.
Сколько отдыхать теперь ты будешь,
Прежде чем ты обо всем забудешь,
Прежде чем ты выспишь все былье...
Спи!
 Постлали свежее белье.

ПОСЛЕ ДВОЕТОЧИЯ

Вечером после рабочего дня
По дороге в отдельные и коммунальные
берлоги
Люди произносят внутренние монологи.
Кое-что доносится до меня.

Двоеточие

— Целый день работал без меры.
Целый день мозги засорял.
Все-таки почему инженеру
Платят меньше, чем слесарям?

— Трудно учиться станкачу.
Семь часов плюс три за партой.
Зато потом, если захочу,
Прочту чертежи, разберусь с картой.

— Муж! Всю жизнь ему верна.
Даже в сторону не посмотрела.
А он сперва говорил — война!
Теперь говорит — ты постарела.

— Покуда ноги будут носить,
Покуда женщины хорошеют весною,
Буду в сторону глаза косить.
Ничего не поделает со мною.

— Всю жизнь выполнял последний приказ.
Делал то, что говорили.
Сейчас даже в пенсии отказ.
Все грехи на меня свалили.

— Он меня бил в живот, по лицу.
Кричал: подписывай! Все равно сдохнешь!

Смотришь в глаза ему, подлецу,
И — ничего! Ни вздохнешь, ни охнешь.

Все-таки кончился рабочий день
Для всех: для неправых и для обиженных.
Деревья удлиняют тень.
Огни зажглись во дворцах и в хижинах.

Для правых и неправых зажжена
В общем небе одна луна.

Перебивая все голоса,
Все проклятия и благословения,
Луна в привычном дерзновении
Спокойно восходит на небеса.

ДОМ В ПЕРЕУЛКЕ

Проживал трудяга в общеаге,
А потом в тюрьагу пошел
И в тюрьаге до мысли дошел,
Что величие вовсе не благо.
По амнистии ворошиловской
Получил он свободу с трудом.
А сегодня кончает дом —
Строит, лепит — злой и решительный.
Не великий дом — небольшой.
Не большой, а просто крохотный.
Из облезлых ящиков сгроханный,
Но с печуркой — домовьей душой.
Он диван подберет и кровать,
Стол и ровно два стула поставит,
Больше двух покупать не станет,
Что ему — гостей приглашать?
Он сюда приведет жену,
Все узнав про нее сначала,
Чтоб любить лишь ее одну,
Чтоб она за себя отвечала.
Он сначала забор возведет,
А потом уже свет проведет.
Он сначала достанет собаку,
А потом уже купит рубаху.
Все измерив на свой аршин,
Доверять и дружить закаясь,
Раньше всех домашних машин
Раздобудется он замками.
Сам защелкнутый, как замок,
На все пуговицы перезастегнутый,
Нависающий, как потолок,
И приземистый, и полусогнутый.
Экономный, словно казна,
Кость любую трижды огложет.
Что он хочет?
Хто його зна.
Что он может?
Он много может.

* * *

Богатые занимают легко,
Потому что
 что им, богатым?
А бедные долго сидят по хатам,
Им до денег идти далеко.

Бедный думает, как отдать?
Откуда взять?
А богатый знает: деньги найдутся,
Только все костюмы обследуются,
По телеграфу переведутся,
У дальних родственников наследуются.

Шутку о том, что берешь на время,
Но отдаешь навсегда,
Придумала Большая Беда,
Выдохнуло тяжелое бремя.

* * *

Только война закончится —
Сразу же Мострамвай
Детям и инвалидам
Множество мест подавай.

В эти первые годы
После большой войны
Дети очень заметны
И калеки видны.

Вскорости дети вырастут,
С мест передних уйдут,
А инвалидов вылечат
Или в больницах запрут.

Только одни беременные,
Как символ мирного времени,
Будут сидеть впереди
С брошками на груди.

СЧАСТЬЕ

Гривенники, пуговицы,
Карандашей огрызки —
Все, что нашла на улице,
Она хранила в миске.
И вот за жизнь за длинную
Покрылось все же дно
У маленькой, у глиняной
У мисочки одной.
Не вышли, не выгорели
Затеи и дела.
По тиражам не выиграла
И мужа не нашла.
Ах, сколько еще надобно
Промучиться, прожить,
А пуговицы найденные
Не к чему пришить.

ВЗРОСЛЫЕ

Смотрите! Вот они пирожные едят!
Им стыдно, и смешно, и сладко.
Украдкой приподнимая взгляд,
Они жуют с улыбкой и с оглядкой!

По многу! По четыре! И по шесть!
А дети думают: зачем им столько?
Наверно, трудно сразу это съесть,
Не отходя от магазинной стойки.

Им — 35. Им — 40. 45.
Им стыдно. Но они придут опять:
От этого им никуда не деться.
За то, что недоели в детстве,
За «Не на что!», за «Ты ведь не один!»,
За «Не проси!», за «Это не для бедных!»
Они придут в сладчайший магазин
И будут есть смущенно и победно!

СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ

К бухгалтерам приглядываюсь издавна
И счетоводам счет веду.
Они, быть может, вычислят звезду,
Которая и выведет нас из дому.

Из хаоса неверных букв,
Сложившихся в слова неясные —
В края, где в основаньи всех наук
Нагие числа, чистые, прекрасные.

Во имя человечества — пора,
Необходимо для целёй природы,
Чтоб у кормила — вы, бухгалтера,
Стояли. Рядом с вами — счетоводы.

Дворянская забылась честь.
Интеллигентская пропала совесть.
У счетоводов же порядок есть
И аккуратность, точность, образцовость.

Все приблизительны. Они — точны.
Все — на глазок. У них же — до копейки.
О, если бы на карту всей страны
Перевести их книги — под копирку.

Растратчики, прохвосты и ворюги
Уйдут из наших городов и сел.

Порядок, тот, что завезли варяги,
Он весь по бухгалтериям осел.

* * *

Меняю комнату на горницу.
Меняю площадь на жилье.
Переезжаю с дикой гордостью
Из коммунального — в мое.

Я развивался в коллективе.
Я все обязанности нес.
Хочу, чтоб гости колотили
В моих ворот кленовый тес.

Я был хороший, стал отличный,
Обыкновенный стал потом.
Теперь хочу, чтоб пес мой личный
Гонялся за моим котом.

Хочу, как пишут в объявлении,
Отдельности, уединения.

ИСКУССТВО

Я посмотрел Сикстинку в Дрезденке,
Не пощадил свой бока.
Ушел. И вот иду по Сретенке,
Разглядываю облака.
Но как она была легка!

Она плыла. Она парила.
Она глядела на восток.
Молчали зрители. По рылу
У каждого стекал восторг.
За место не вступали в торг!

С каким-то наслажденьем дельным
Глазели, как летит она.
Канатом, вроде корабельным,
Она была ограждена.
Не понимали ни хрена!

А может быть, и понимали.
Толковые! Не дурачки!
Они платочки вынимали
И терли яростно очки.
Один — очки. Другой — зрачки!

Возвышенное — возвышает,
Парящее — вздымает вверх.
Морали норму превышает
Человек. Как фейерверк
Взвивается. Он — человек.

ВРЕМЯ

1959

* * *

Ко мне на койку сел сержант-казак
И так сказал:
 «Ты понимаешь в глобусе?»
И что-то вроде боли или робости
Мелькнуло в древних, каменных глазах.
Я понимал.
И вот сидим вдвоем
И крутим, вертим шар земной
 до одури,
И где-то под Берлином
 и на Одере
Последний бой противнику даем.
Вчерашней сводкой
 Киев сдан врагам,
И Харьков сдан сегодняшнею сводкой,
И гитлеровцы бьют прямой наводкой
По невским и московским берегам.
Но будущее — в корпусе «один»,
Где целый день — у глобуса собрание,
Где раненые
И тяжело раненные
Планируют сражение за Берлин.

ДЕКАБРЬ 41-ГО ГОДА

Памяти М. Кульчицкого

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.
Недаром за полгода до начала
Войны

мы написали по стиху
На смерть друг друга.

Это означало,
Что *знали* мы.

И вот — земля в пуху,
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.

Не ждите льгот, в спасение не верьте:
Стучит судьба, как молотком бочар.
И Ленин учит нас презренью к смерти,
Как прежде воле к жизни обучал.

ГОВОРIT КОМИССАР ПОЛКА

Тебя поставили политруком
Не для того, чтоб проводить парады,
А для того, чтоб русским языком
Ты объяснял своим солдатам правду.

Ты эту правду вычитал из книг,
Но эти книги правильные были,
И ты толково разобрался в них
И отличаешь ерунду от были.

Высокой мерой человека мерьте —
Ее солдаты выдержат вполне.
Скажите им о жизни и о смерти,
О Родине, о мире, о войне.

Без дела голоса не повышайте —
Солдаты все запомнят и учтут.
Курить газеты? Можно. Разрешайте,
Но только те, которые прочтут.

Почаще брейтесь. Думайте про танки
И помните, что политаппарат
Не подымает рядовых в атаки,
Но если врылись в землю и лежат —
Вставайте, выбегайте из окопа,
И ежели поверил вам народ —
Так он пройдет за вами пол-Европы
И дальше,
 если скажете,
 пойдет!

КОГДА МЫ ПРИШЛИ В ЕВРОПУ

1

Когда мы пришли в Европу,
Нам были чудны и странны
Короткие расстоянья,
Уютные малые страны.
Державу проедешь за день!
Пешком пройдешь за неделю!
А мы привыкли к другому
И всё глядели, глядели...
Не полки, а кресла в вагонах,
Не спали здесь, а сидели.
А мы привыкли к другому
И всё глядели, глядели...
И вспомнить нам было странно
Таежные гулкие реки,
Похожие на океаны,
И путь из варягов в греки.
И как далеко-далёко
От Львова до Владивостока,
И мы входили в Европу,
Как море
 в каналы вступает.
И заливали окопы,
А враг — бежит,
 отступает.
И негде ему укрыться
И некогда остановиться.

2

Русские имена у греков,
Русские фамилии у болгар.
В тени платанов, в тени орехов

Нас охранял, нам помогал
Общий для островов Курильских
И для Эгейских островов
Четко написанный на кириллице
Дымно-багровый, цвета костров,
Давний-давний, древний-древний,
Православной олифой икон —
Нашей общности старый закон.
Скажем, шофер въезжает в Софию,
Проехав тысячу заграниц.
Сразу его обступает стихия:
С вывесок, с газетных страниц,
В возгласах любого прохожего,
Стихия родного, очень похожего,
Точнее, двоюродного языка.
И даль уже не так далека,
И хочется замешаться в толпу
И каждому, словно личному другу,
Даже буржую, даже попу,
Долго и смачно трясти руку.
Но справа и слева заводы гудят,
Напоминая снова и снова
Про русское слово «пролетариат»,
Про коммунизм (тоже русское слово).
И классовой битвы крутые законы
Становятся сразу намного ясней:
Рабочего братства юные корни
Крепче братства словесных корней.

3

О, если б они провидели,
О, если бы знать могли,
Властители и правители,
Хозяева этой земли!
Они бы роздали золото,
Пожертвовали серебром
И выписались из богатых —
Сами ушли бы, добром.
Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.

И вот затухают классы,
Как на ветру — свеча,
И трубные радиогласы
Гласят про смерть богача.
И режут быков румынских
Румынские кулаки,
И талеров полные миски
Закапывают у реки.

А я гляжу, на Балканах,
Как тащит сердитый народ
За шиворот, словно пьяных,
Кумиры былых господ.
Сперва на них петлю набрасывают,
Потом их влачат трактора,
Потом их в канавы сбрасывают
Под общие крики «Ура!».

О, если б они провидели,
О, если бы знать могли,
Властители и правители,
Князья, цари, короли!
Они бы из статуй медных
Наделали б медных котлов
И каши сварили для бедных —
Мол, ешьте без лишних слов.

Но слышашие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.

4

Над входом —
Краткое объявление:
«Народом
Данное
помещение
Для всех буржуев
Окрестных мест.
Свобода, справедливость, месть!»

Крутые яйца
Буржуи жрали,

Как на вокзале,
В транзитном зале.
В подвале тесно и — жара.
Хрустит яичная кожура!

Буржуи ждали
Прихода судей,
Решенья судеб
И в нервном зуде
Чесались, словно
Им всем невмочь.
И жрали ровно
Два дня и ночь.

Их партизаны
Не обижали,
Следили, чтобы
Не убежали.
Давали воду
И сигареты
И заставляли
Читать газеты.

А те в молчаньи
Статьям внимали,
Потом в отчаяньи
Руки ломали.
Все понимали
Как полагается
И снова жрали
Крутые яйца.

Потом из центра
Пришла бумажка
С политоценкой
Этой промашки:
«Буржуазию
Города Плевны
Немедля выпустить
Из плена!»

И, яйца на ходу свежую,
Рванулись по домам буржуи.

КРЫЛЬЯ

Солдатская гимнастерка зеленовата цветом.
В пехоте она буреет, бурее корки на хлебе.
Но если ее стирают зимою, весною и летом —
После двухсотой стирки она бела, как лебедь.

Не белые лебеди плещут
Студеной метелью крыльев —
Девчонки из роты связи
Прогнали из замка графа.
Они размещают вещи.
Они все окна открыли.
Они не потерпят грязи.
Они метут из-под шкафа.

Армейских наших девчонок
В советских школах учили.
Плевать им на графский титул.
Знакомо им это слово.
Они ненавидят графов.
Они презирают графов,
Не уважают графов,
Кроме графа Толстого.

Здесь все завоевано нами.
За все заплачено кровью.
Замки срываются с мясом.
Дубовые дверцы настезь.
Тяжелые, словно знамя,
Одежды чудного покроя,
Шурша старинным атласом,
Надела Певцова Настя.

Дамы в парадном зале,
Мечите с портретов громы.

Золушки с боем взяли
Ваши дворцы и хоромы.
— Если в корсетах ваших
На вас мы не очень похожи,
Это совсем не важно:
Мы лучше вас и моложе!

— Скидай барахло, девчонки!
— На что мы глаза раскрыли! —
И снова все в белых,
В тонких,
Раз двести стиранных крыльях,

Замки на петельках шкафа,
Темнеют на стенах графы.
Девчонки лежат на койках.
Шелков им не жаль нисколько.

ИЗ ПЛЕНА

По базару тачка ехала,
Двухколесная и грязная.
То ли с плачем, то со смехом ли
Люди всякие и разные
На нее смотрели пристально,
Шеи с любопытством выставя,
А потом крестились истово
Или гневались неистово:

Мальчики мал мала меньше
В тачке той лежат
 притихшие.
А толкает тачку женщина,
Этих трех мужчин родившая.
По кривой базарной улице
Поступью проходит твердою.
Не стыдится, не сутулится,
А серьезная и гордая.

Мы, фашизма победители,
Десять стран освобождавшие,
Эту бабу не обидели,
Тачку мимо нас толкавшую.
Мы поздравили с победою
Эту женщину суровую
И собрали ей как следует —
Сухарями и целковыми.

РАННЕЕ УТРО

В углу харчевни спали три танкиста,
Храпели рядом три веселых друга.
Хозяева им постелили чисто.

Сняв гимнастерки
и раскинув руки,
Во сне солдаты мирно улыбались.
А на стене три тени колебались —
Лампады.

Выше — хмурые иконы
Гадали про порядки и законы,
Что нынче ночью въехали на танке
В забытую румынскую деревню.
А за окном выл ветер,

и деревья
Шумели, словно девки на гулянке.
Кусать военных, видно, не решались
Трусливые и вежливые мухи.
Они то над хозяином кружились,
То над седыми космами старухи,
Готовившей яичницу

приезжим
И плакавшей,
слезы не вытирая.
А за окном рассвет тихонько брезжил,
Но это не мешало ветеранам.
Они глаза на сто замков закрыли —
В гостях у тещи так они не спали!
А тени, трепыхаясь,

словно крылья,
Их словно возносили,
поднимали.

Еще я двор харчевни той
запомнил.
Окрестный люд его давно заполнил:

За сорок верст шли мужики.
И бабы
Румынские
Шли с мужиками вместе,
Чтобы взглянуть одним глазком хотя бы,
Чтобы спросить
насчет земли и мести.
Заплатанные, нищие, босые,
Голодные послы со всей округи
Пришли просить о помощи Россию,
Пришли пожать Стране Советов руки.
А солнце шло по танковому следу
И гусеницей тучи попирало,
Как будто для свободы и победы
Его сковали
где-то за Уралом.
С востока — так же, как обыкновенно, —
Всходило солнце,
медленно и верно.

ДОМА!

День возвращения в Москву
Передо мной как наяву.

Пять лет как здесь я не бывал,
В пяти державах был,
Всё этот день я добывал,
Покуда не добыл.

...Воспоминания томят,
Надеждами парят.
Но вот я вижу автомат —
Обычный аппарат.
Пятиалтынный сунул в щель,
Снял трубку и крутнул,
И дальний друг, немой досель,
Заговорил, прильнул.

Не отхожу от колеса,
Где десять круглых дыр,
Чтоб только слышать голоса,
Чтобы за миром мир
Передо мною представал,
И говорил и пел,
Чтоб вновь я деньги доставал
И колесом скрипел.

Не отхожу от колеса —
Вези, вези меня
В события и в чудеса...
Нет, не забуду дня,
Когда я дверцу отворил,
И вещмешок швырнул,
И к диску мертвому
прильнул,
И он — заговорил.

* * *

Я не любил стола и лампы
В квартире уютной, словно лодка,
И тишины, бесшумной лапой
Хватающей стихи за глотку.
Москва меня не отвлекала —
Мне даже нравилось, что гулки
Ее кривые, как лекало,
Изогнутые переулки.
Мне нравилось, что слоем шума
Ее покрыло, словно шубой,
Многоголосым гамом ГУМа,
Трамваев трескотнею грубой.
Я привыкал довольно скоро
К ушам, немного оглушенным,
К повышенному тону спора
И глоткам,

словно бы луженым.

Мне громкость нравилась и резкость —
Не ломкость слышалась, а крепость
За голосами молодыми,
Охрипшими в табачном дыме.
Гудков фабричных перегуды,
Звонков вокзальных перезвоны,
Громов июньских перегромы
В начале летнего сезона —
Все это надо слушать, слушать,
Рассматривать, не уставая.
И вот

развешиваю уши,
Глаза пошире раскрываю
И, любопытный,

словно в детстве,

Спешу с горячей головою
Наслушаться и наглядеться,
Нарадоваться Москвою.

* * *

Вот вам село обыкновенное:
Здесь каждая вторая баба
Была жена, супруга верная,
Пока не прибыло из штаба
Письмо, бумажка похоронная,
Что писарь написал вразмашку.

С тех пор
 как будто покоренная
Она
 той малюю бумажкою.

Пылится платьице бордовое —
Ее обнова подвенечная,
Ах, доля бабья, дело вдовое,
Бескрайнее и бесконечное!

Она войну такую выиграла!
Поставила хозяйство на ноги!
Но, как трава на солнце,
 выгорело
То счастье, что не встанет наново.

Вот мальчишки бегут и девочки,
Опаздывают на занятия.
О, как желает счастья деточкам
Та, что не будет больше матерью!

Вот гармонисты гомон подняли,
И на скрипучих досках клуба
Танцуют эти бабы. По двое.
Что, глупо, скажете? Не глупо!

Их пары птицами взвиваются,
Сияют утреннею зорькою,
И только сердце разрывается
От этого веселья горького.

ОСЕННИЙ ЛЕС

Прекрасные, как цветы, грибы,
Тяжелые, как грибы, цветы,
Затерянные в березняке столбы
Стыдятся своей нагой простоты.

На что походит осенний лес?
Больше всего на тихий пожар.
Молча лижут чашку небес
Пламени желтые языки,
И падает в пламя солнечный шар —
Капля дождя — в пойму реки.

Так шаль цыганская не пестра,
Как лес, еще зеленый на треть.
У каждого дерева, как у костра,
Можно не ноги, а душу греть.

А теплота, а красота
Каждого маленького куста?
А мягкость бурой лесной земли,
А бескорыстие птиц лесных?
Поют, как будто их завели,
И хочется долго глядеть на них
И не копировать, не подражать —
Просто песню ту продолжать.

В МЕТРО

1

Вагон метро в июле,
В седьмом часу утра.
Две девушки уснули,
А им вставать пора.

Бужу их: «Вам не к спеху?
Поедете назад?»
И с легким полусмехом
Они благодарят.

Кривятся губы — алые
От юности и краски.
Две девушки усталые
Трут кулачками глазки —
Глубокие, красивые,
Лукавые, лисичьи,
Голубо-серо-синие
Большущие глазищи.

И вдруг встают и вскакивают
И плечи расправляют.
Усталость словно смахивают,
Ничуть не оставляют.

Ни самой малой малости,
Ни чуточки, ни капельки
Не видно от усталости:
— Бежим скорее, Катенька!

Их утро словно выправило,
Все их ошибки выправило,
Надежды утвердило
И, как стрелу, пустило.

На площади Маяковского
(Я говорю про метро)
Проходит девушка с косками,
Уложенными хитро.

Над косами встала радуга,
Пестрая радуга лент,
Глядит на нее — и радуется
Идущий рядом студент.

И отражают колонны
(Одна за другой — весь лес)
Студенческий взгляд влюбленный,
Девичьих косичек блеск.

Мне все это очень нравится,
И вот я
 собрался и стих:
Студент и его красавица
Торжественно входят в стих.

* * *

То слышится крик:
— Не надо, долой!
То слышится крик:
— Даешь, ура!
Это, придя с уроков домой,
Вершит свои дела детвора.

Она осуждает
своих дураков.
Она выбирает
своих вожakov.
Решает
без помощи кулаков,
Каков их двор и мир каков.

Пускай прирастают к свободе с утра
Дети большого двора!
Пускай они кричат, что хотят!
Они сумеют во всем разобраться.
Потому что товарищество
и братство
Взяли за руки наших ребят.

СВЕРСТНИКАМ

Широкоплечие интеллигенты —
Производственники, фронтовики,
Резкие, словно у плотников, жесты,
Каменное пожатье руки.

Смертью смерть многократно поправшие,
Лично пахавшие столько целин,
Лично, непосредственно бравшие
Столицу Германии — город Берлин.

Тяжелорукие, но легконогие,
Книжки перечитавшие — многие,
Бревна таскавшие — без числа,
В бой, на врага поднимавшие роту —
Вас ожидают большие дела!
Крепко надеюсь на вашу породу.

ПОЕЗДА

Скорые поезда, курьерские поезда.
Огненный глаз паровоза —
Падающая звезда,
Задержанная в падении,
Летящая мимо перронов,
И многих гудков гудение,
И мерный грохот вагонов.

На берегу дороги,
У самого синего рельса,
Зябко поджавши ноги,
Мальчик сидел и грелся.
Черным дымом грелся,
Белым паром мылся.
Мылся белым паром,
Стремился стать кочегаром.
Как это было недавно!
Как это все известно!

Словно в район недалгий,
Словно на поезде местном,
Еду я в эти годы —
Годы пара и дыма
И паровозов гордых
С бригадами молодыми
В белых и черных сорочках
(Белых и черных вместе).
Еду на этих строчках,
Как на подножках ездил.

Те речи, что гремели со столба,
И песню —
 ту, что со столба звучала,
Торги замедлив,
 слушала толпа
Внимательно,
 как будто изучала.

И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи — нипочем!
И даже физкультурная зарядка
Лоточников
 хлестала, как бичом.

Целый час я, наверное,
Буду несчастен.

Целый час быть несчастным —
Ведь это не шутки.
В часе столько минуток,
А в каждой минутке
Еще больше секунд.
И любую секунду
В этом часе, наверно,
Несчастливым я буду!

Но снимается с тачки блестящая крышка,
И я слышу: «Бери!
Ты хороший мальчишка!»

* * *

Тушат свет и выключают звуки.
Вся столица в сон погружена.
А ко мне протягивают руки
Сестры — Темнота и Тишина.

Спят мои товарищи по комнате,
Подложив под голову конспект —
Чтобы то, что за день не запомнили,
За ночь все же выучить успеть.

Я прижался лбом к холодной раме,
Я застыл надолго у окна:
Никого и ничего меж нами,
Сестры — Темнота и Тишина.

До Луны — и то прямая линия, —
Не сворачивая, долечу!
Сестры, Тихая и Темно-синяя,
Я стихи писать хочу!

Темнота покуда мне нужна еще:
На свету мне стыдно сочинять!
Сестры! Я студент, я начинающий,
Очень трудно рифмы подбирать.

...Вглядываюсь в темень терпеливо
И, пока глаза не заболят,
Жду концов — хороших и счастливых —
Для недавно начатых баллад.

ТОПОЛЯ

Я в Харькове опять. Среди аллей
Солидно шелестящих тополей —
Для тени, красоты и наслаждений
Посаженных народом насаждений.
Нам двадцать с лишним лет тому назад
Обещано: здесь будет город-сад.
И достоверней удостоверений
Тополя над Харьковом шумят.

Да, тополь был необходимым признан —
Народом постановлено моим,
Что коммунизм не станет коммунизмом
Без тополиных шелестов над ним.
И слабыми, неловкими руками
Мы, школьники, окапывали ямы
Для слабеньких и худеньких ростков.

Их столько зорких стерегло врагов!
Их бури гнули. Суховеи жгли.
Под корень оккупанты вырубали.
Заборами, дровами и гробами,
Наверно, тыщи тополей пошли.

Но как на место павшего солдат
Становится, минуты не теряет, —
Так новые посадки шелестят
И словно старый шелест повторяют.

Все правильно, дела идут на лад!
И в Харькове, Москве, по всей России
Те слабые ростки, что мы растили,
Большими тополями шелестят.

* * *

Снова нас читает Россия,
А не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
И намеки, глухие подчас.

Потихоньку запели Лазаря,
А теперь все слышнее слышны
Горе госпиталя, горе лагеря
И огромное горе войны.

И неясное, словно движение
Облаков по ночным небесам,
Просыпается к нам уважение,
Обостряется слух к голосам.

И мы снова даем уроки —
Все настойчивей и смелей.
И не стыдно нам брать за строки
По семи и больше рублей.

* * *

Воссоздать сумею ли, смогу
Образ человека на снегу?
Он лежит, обеими руками
Провод,
 два конца его схватив,
Собственной судьбой соединив
Пустоту, молчание, разрыв,
Тишину
Между двумя кусками.

Пулемет над головою бьет,
Слабый снег под гимнастеркой тает...
Только он не встанет, не уйдет,
Провода не бросит, не оставит.

Мат старшин идет через него,
И телефонистку соблазняют...
Больше — ничего.
Он лежит.
Он ничего не знает.

Знает! Бьет, что колокол, озноб,
Судорога мучает и корчит.
Снова он застыл, как сноп, как гроб.
Встать не хочет.

Дотерпеть бы! Лишь бы долежать!..
Дотерпел! Дождался! Долежался!
В роты боевой приказ добрался.
Можно умирать — или вставать.

* * *

Руку
 притянув
 к бедру
 потуже,
Я пополз на правой,
 на одной.
Было худо.
 Было много хуже,
Чем на двух
И чем перед войной.

Был июль. Войне была — неделя.
Что-то вроде: месяц, два...
За спиной разборчиво галдели
Немцы.
 Кружилась голова.

Полз, пока рука не отупела.
Встал. Пошел в рост.
Пули маленькое тело.
Мой большой торс.

Пули пели мимо. Не попали.
В яму, в ту, что для меня копали,
Видимо, товарищи упали.

ФУНТ ХЛЕБА

Сколько стоит фунт лиха?
Столько, сколько фунт хлеба,
Если голод бродит тихо
Сзади, спереди, справа, слева.

Лихо не разобьешь на граммы —
Меньше фунта его не бывает —
Лезет в окна, давит рамы,
Словно речка весной, прибывает.

Ели стебли, грызли корни,
Были рады крапиве с калиной.
Кони, славные наши кони,
Нам казались ходячей кониной.

Эти месяцы пораженья,
Дни, когда теснили и били,
Нам крестьянское уваженье
К всякой крошке хлеба привили.

ВОЙНА

Безвыигрышная лотерея:
Купи, храни, проверь, порви, —
Жестокая, как Лорелея,
Не признававшая любви.

Все проиграли, все утратили,
Без ног остались и земель.
Наверно, только мы, писатели,
Кой-что приобрели взамен.

Кто — память. Кто — воспоминания.
Кто — нервный смех, кто — чуткий сон.
Кто — просто список поминания
На сто, на пятьдесят персон.
Кто — фабулы.
Кто — просто темы.
Кто — чувство долга и вины
Пред рано умершими,
теми
Невозвращенцами с войны.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЖУРНАЛИСТЕ

Короткая — как у газеты — жизнь.
Измятая — как у газеты — смерть.
И легкий труп, как газетный комок.
Вот и все, что я вспомнить мог.

СТАТЬЯ 193 УК (ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

Спокойней со спокойными, но все же —
Бывало, ждешь и жаждешь гневной дрожи,
Сопротивленья матерьяла ждешь.
Я много дел расследовал, но мало
Встречал сопротивленья матерьяла,
Позиции не помню ни на грош.

Оспаривались факты, но идеи
Одни и те же, видимо, владели
Как мною, так и теми, кто сидел
За столом, но по другую сторону,
Называл автобус черным вороном,
Признаваться в фактах не хотел.

Они сидели, а потом стояли
И падали, но не провозглашали
Свое «Ура!», особое «Ура!».
Я помню их «Ура!» — истошно-выспренное,
Тоскливое, несчастное, но искреннее.
Так все кричат, когда придет пора.

А если немцы очень допекали,
Мы смертников условно отпускали —
Гранату в руки и — на фронт! вперед!
И санитарные автомобили
Нас вместе в медсанбаты отвозили,
И в общей,
В братской,
Во сырой могиле
Нас хоронил
Один и тот же
Взвод.

* * *

Остановился на бегу.
Наган поправил на боку,
А также две гранаты
Поправил так, как надо.

Казалось, сердце вовсе пас,
Но снова влезло в нужный паз.
Передохнул мгновенье,
А может, полмгновенья.

Теперь до немцев метров сто.
А может, меньше. Ну и что?
Осталось на один бросок,
А пуля, та, что мне в висок
Врагом предназначалась,
Куда-то прочь умчалась.

МОСТ НИЩИХ

Вот он — мост, к базару ведущий,
Загребущий и завидуший,
Руки тянуший, горло дерущий!
Вот он в сорок шестом году.
Снова я через мост иду.
Всюду нищие, всюду убогие.
Обойти их — я не могу.
Беды бедные, язвы многие
Разложили они на снегу.

Вот иду я, голубоглазый,
Непонятно каких кровей.
И ко мне обращаются сразу —
Кто горбатей, а кто кривей —
Все: чернявые и белобрысые,
Даже рыжие, даже лысые —
Все кричат, но кричат по-своему,
На пяти языках кричат:
Подавай, как воин — воину,
Помогай, как солдату — солдат.
Приглядись-ка к моим изъяснам!
Осмотри-ка мою беду!
Если русский — подай христианам:
Никогда не давай жиду!
По-татарски орут татары,
По-армянски кричит армянин.
Но еврей, пропыленный и старый,
Не скрывает своих именин.
Он бросает мне прямо в лицо
Взора жадного тяжкий камень.
Он молчит. Он не машет руками,
Он обдергивает пальтецо.
Он узнал. Он признал своего.

Все равно не дам ничего.
Мы проходим — четыре шинели
И четыре пары сапог.
Не за то мы в окопе сидели,
Чтобы кто-нибудь смел и смог
Нарезать беду, как баранину,
И копать потом в кусках.
А за нами,
 словно пораненный,
Мост кричит на пяти языках.

РОСТОВЩИКИ

Все — люди!
Все — человеки!
Нет. Не все.

Пел в кустах усердный соловейко.
Утро было до колен в росе.
Старики лежали на кроватях
Ниже трав и тише вод, —
Убирать их, даже накрывать их
Ни одна соседка не придет.

Восковая неподвижность взгляда.
На стене — нестертая пыльца.

А с кроватью рядом —
Склянки с ядом,
Выпитые до конца.

Пасторскую строгость сюртука
Белизна простынь учетверяла.
Черные старухины шелка
Ликовали над снегом покрывала —
Нелюбимой власти иго сбросив,
Души их стремились в небеса!

Петр-апостол задал им вопросы,
Четкие ответы записал.

Но военный комендант селенья —
Власть повыше ключаря Петра.
По его прямому повелению
В доме обыск наряжен с утра.

Сундуки вскрывают понятия,
Нарушают благостный уют,
Дутые, чеканные, литые
Золотые заклады достают.

Это возвращаются из плена,
Это покидают стариков
Скромные сокровища смиренных,
Сырые богатства бедняков.

Вся деревня привалила к стеклам
И глядит в окно, как в объектив —
Мутный-мутный,
Потный-потный,
Блеклый, —
Все равно — дыханье затаив.

Перед ней в неслыханном позоре,
Черные от головы до пят,
Черные, как инфузории,
Мертвые ростовщики лежат.

* * *

Определю, едва взгляну:
Росли и выросли в войну.

А если так, чего с них взять?
Конечно, взять с них нечего.
Средь грохота войны кузнечного
Девичьих криков не слышать.

Былинки на стальном лугу
Растут особенно, по-своему.
Я рассказать еще могу,
Как походя их топчут воины:

За белой булки полкило,
За то, что любит крепко,
За просто так, за понесло
Как половодьем щепку.

Я в черные глаза смотрел
И в серые, и в карие,
А может, просто руки грел
На этой жалкой гари я?

Нет, я не грел холодных рук.
Они у меня горячие.
Я в самом деле верный друг,
И этого не прячу я.

Вам, горьким — всем, горячим — всем,
Вам, робким, кротким, тихим — всем
Я друг надолго, насовсем.

* * *

Как залпы оббивают небо,
Так водка обжигает небо,
А звезды сыплются из глаз,
Как будто падают из тучи,
А гром, гремучий и летучий,
Звучит по-матерну меж нас.

Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
Мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.

Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
Все, что разбито, снесено.
Пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
За их труды мы пьем вино.

Еще мы пьем за жен законных,
Что ходят в юбочках суконных
Старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
И мировой пожар раздуем,
Чтобы на горе всем буржуям
Согрелась у огня жена.

За нашу горькую победу
Мы пьем с утра и до обеда
И снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
Нам горько, но и ей не сладко.
Ну, выпили?
Ну — спать пойдём...

ПАРК И МУЗЕЙ ЦДСА

Из парка вытащена вся война
В хранилища соседнего музея,
И я сижу на солнышке, глаза
На мирные, как в детстве, времена.

Как в детстве — так и в парке—нет мужчин,
А только бабы, женщины и дамы,
Которые и ходят здесь годами,
На что в музее множество причин.

Их спутники, мужья и женихи,
Фамилии тех спутников и лица
Не могут быть записаны в стихи —
Музей их раньше внес в свои таблицы.

А столбики бесстрастных диаграмм
Столбцов стиха — точнее и умнее.
Ни горечи, ни гордости музея
Я никогда стихом не передам.

* * *

— Дадите пальто без номера?
Где-то забыл, по-видимому.
Или не взял, по-видимому,
Давайте, пока не выдали,
Давайте, покуда кто-нибудь
Мой номер еще не нашел.
Ищи потом его где-нибудь:
Схватил, надел и ушел.

— Какое ваше пальто?
Это? Вот это?
То?

— Да нет! Все это — пижонство —
Велюр! Коверкот! Шивиот!
Мое пальто — полужесткое,
Десятый годок живет!

— А цвет какой?
— Цвету медного.
— Сукно, какое сукно?
— Шинельное, полубессмертное,
Такое сукно оно...

— Не эта ли ваша шинель?
Вот та, что висит на стене?

— Да что вы на самом деле?
Ведь я лейтенантом был.
Солдатские эти шинели —
Ни в жизни! никогда! — не носил.

Моя шинель офицерского
Покроя.
Сукна — венгерского,
Кофейного цвета сукна.
Такая шинель она!

— Эх, с пьяным не житье!
Хватайте ваше тряпье!

КОНСУЛЬТАНТ В ГОРОДСКОМ САДУ

Я, великого только чающий,
Думал я ли, что так паду:
На вопросы людей отвечающий
Консультант в городском саду.

У меня небольшой оклад,
Стол квадратный, стул соломенный.
Я какой-то тихий, сломанный,
Странный,
 как в саду говорят.

Каждый день с четырех часов,
Если дождь не дождит над парком,
Подвергаюсь всеобщим нападкам
И кружусь в кругу голосов.

Отвечаю. И не за то,
А на то,
 по теории, практике,
Вдоль отечества и по галактике
Знаю то, что не знал никто.

Отвечаю, но только не
За себя. Но без отчаяния.
Даже быть или нет войне —
Отвечаю.

Здесь не спросят по пустякам,
Но нужны бытовые сведения.
Каждый мой ответ, как стакан,
До краев доходит всеведения.

Может быть,
Консультантом быть
Хорошо и совсем необидно.
Если в мире вопросов обилие,
Это надо как-то избыть.

* * *

Был печальный, а стал печатный
Стих.

Я строчку к нему приписал.
Я его от цензуры спасал.

Был хороший, а стал отличный
Стих.

Я выбросил только слог.
Большим жертвовать я не смог.

НЕ — две буквы. Даже не слово.
НЕ — я снял. И все готово.
Зачеркнешь, а потом клянeshь

Всех создателей алфавита.
А потом живeshь деловито,
Сыто, мыто, дуто живeshь.

* * *

Было стыдно. Есть мне не хотелось.
Мне хотелось спать и умереть.
Или взять резинку и стереть
Все, что написалось и напелось.
Вырвать этот лист,
Скомкать, сжечь, на пепле потоптаться.
Растереть ногою слизь.
Не засчитываться, не считаться.
Мне хотелось взять билет
Долгий. Не на самолет. На поезд...
И героем в двадцать лет
Сызнова ворваться в повесть.
Я ложился на диван,
Вдавливался в пружины —
Обещанья твердого режима
Сам себе торжественно давал:
Буду делать это, но не то,
Буду то писать, не это, —
А потом под ливень без пальто
Выходил, как следует поэту.
И старался сразу смыть, смыть, смыть
Все, что может мучить и томить.

* * *

Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесь — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.
Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам!

* * *

Те стихи, что я написал и забыл
И сжег перед тем, как забыть —
Не хватило б резцов, не достало б зубил,
Чтобы их сковырнуть или сбить.

Те стихи, что по радио я прокричал
И в газете опубликовал —
Лучше я бы их, так сказать, промолчал,
Я не сталь, а бумагу ковал.

Ничего! Я покуда хожу и дышу.
Я еще настоящее напишу.

РУБИКОН

Нас было десять поэтов,
Не уважавших друг друга,
Но жавших друг другу руки.

Мы были в командировке
В Италии. Нас таскали
По Умбрии и Тоскане

На митинги и приемы.
В унылой спешке банкетов
Мы жили — десять поэтов.

А я был всех моложе
И долго жил за границей
И знал, где что хранится,

В котором городе — площадь,
И башня в которой Пизе,
А также в которой мызе

Отсидживался Гарибальди,
И где какая картина,
И то, что Нерон — скотина.

Старинная тарихтелка —
Автобус, возивший группу,
Но гиды веско и грубо

И безапелляционно
Кричали термины славы.
Так было до Рубикона.

А Рубикон — речонка
С довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдем пешочком,

Как некогда Юлий Цезарь, —
Сказал я своим коллегам,
От спеси и пота — пегим.

Оставили машину,
Шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,

И любопытный Мартынов,
Пошире глаза раздвинув,
Присматривался к Рубикону,

И грустный, сонный Твардовский
Унылую думу думал,
Что вот Рубикон — таковский,

А все-таки много лучше
Москва-река или Припять
И очень хочется выпить,

И жадное любопытство
Лучилось из глаз Смирнова,
Что вот они снова, снова

Ведут разговор о власти,
Что цезарей и сенаты
Теперь вспоминать не надо.

А Рубикон струился,
Как в первом до Р. X. веке,
Журча, как соловейка.

И вот, вспоминая каждый
Про личные рубиконы,
Про преступленья закона,

Ритмические нарушенья,
Внезапные находки
И правды обнаруженья,

Мы перешли речонку,
Что бормотала кротко
И в то же время звонко.

Да, мы перешли речонку.

ПРОЗАИКИ

*Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александрю Лебедеенко*

Когда русская проза пошла в лагеря —
В землекопы,
А кто половчей — в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы, —
Вы немедля забыли свое ремесло:
Прозой разве утетишься в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смиpны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался,
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.

ЧАСТУШКИ

Частушки Северной области —
Суровые,
 как сама
В Северной этой области
Бушующая зима.

Частушки-коротушки
Веселые девки поют,
А бьют они —
 словно пушки
Большого калибра бьют.

Они палача и паяца
Били всегда наповал.
Сталин частушек —
 боялся.

Ежов за них —
 убивал.

ЛОПАТЫ

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле парашаи,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатой ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.

Преобразовавшие землю
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.

ИДЕАЛИСТЫ В ТУНДРЕ

Философов высылали
Вагонами, эшелонами,
А после их поселяли
Между лесами зелеными,
А после ими чернили
Тундру — белы снега,
А после их заметала
Тундра, а также — пурга.

Философы — идеалисты:
Туберкулез, пенсне, —
Но как перспективы мглысты,
Не различишь, как во сне.
Томисты, гегельянцы,
Платоники и т. д.,
А рядом — преторианцы
С наганами и тэтэ.

Былая жизнь, как чарка,
Выпитая до дна.
А рядом — вышка, овчарка.
А смерть — у всех одна.
Приготовлением к гибели
Жизнь

кто-то из них назвал.

Эту мысль не выбили

Из них

барак и подвал.

Не выбили — подтвердили:
Назвавший был не дурак.
Философы осветили

Густой заполярный мрак.
Они были мыслью тундры.
От голоданья легки,
Величественные, как туры,
Небритые, как босяки,
Торжественные, как монахи,
Плоские, как блины,
Но триумфальны, как арки
В Париже
до войны.

ИЗ НАГАНА

В то время револьверы были разрешены.
Революционеры хранили свои револьверы
В стальных казенных сейфах,
Поставленных у стены,
Хранили, пока не теряли
Любви, надежды и веры.

Потом, подсчитав на бумаге
Или прикинув в уме
Возможности, перспективы
И подведя итоги,
Они с одного удара делали резюме,
Протягивали ноги.

Пока оседало тело,
Воспаряла душа
И, сделав свое дело,
Пробивалась дальше —
Совсем не так, как в жизни,
Ни капельки не спеша,
И точно так же, как в жизни, —
Без никоторой фальши.

* * *

Дети врагов народа —
Дочери, сыновья,
Остаточная порода,
Щепки того дровья,
Что вспыхнуло и сгорело
В тридцать седьмом году,
Нынче снова без дела
С вами день проведу.

Длинные разговоры
Будут происходить.
Многие приговоры
Надобно обсудить.
Не обсудить, а вспомнить
Бедствия и людей.
Надо как-то заполнить
Этот бескрайний день.

Пасмурная природа.
Птицы на юг летят.
Дети врагов народа
В детство свое глядят.
Где оно, детство, где оно?
Не разглядеть ничего.
Сделано дело, сделано.
Не переделать его.

ПОДЛЕСОК

Настоящего леса не знал, не застал:
Я, мальчишкой, в московских газетах читал,
Как его вырубали под корень.
Удивляло меня, поражало

тогда,

До чего он покорен.
Тихо падал, а как величаво шумел!
Разобраться я в этом тогда не сумел.

Между тем проходили года, не спеша.
Пересаженный в тундру подлесок
Вылезал из-под снега, тихонько дыша,
Тяжело.
Весь в рубцах и порезах.

Я о русской истории от сыновей
Узнавал — из рассказов печальных:
Где какого отца посушил суховей,
Где который отец был начальник.
Я часами, не перебивая, внимал,
Кто кого назначал, и судил, и снимал.

Начинались истории эти в Кремле,
А кончались в Нарыме, на Новой Земле.

Года два или больше выслушивал я
То, что мне излагали и сказывали
Невеселые дочери и сыновья,
Землекопы по квалификации.

И решил я в ту пору, что есть доброта,
Что имеется совесть и жалость,
И не виделось более мне ни черта,
Ничего мне не воображалось.

ПЕРЕСУД

Даже дело Каина и Авеля
В новом освещении представили,
А какая давность там была!
А какие силы там замешаны!
Перемеряны и перевзвешены,
Пересматриваются все дела.

Вроде было шито, было крыто,
Но решения палеолита,
Приговоры Книги Бытия
В новую эпоху неолита
Ворошит молоденький судья.

Оказалось, человечности
Родственно понятие бесконечности.
Нет окончательных концов.
Не бывает!
А кого решают —
В новом поколении воскрешают.
Воскрешают сыновья отцов.

* * *

Слишком юный для лагеря, слишком старый
для счастья:

Восемнадцать мне было в 37-м.
Этот 37-й вспоминаю все чаще.

Я серьезные книги читал про Конвент.
Якобинцы и всяческие жирондисты
Помогали нащупывать верный ответ.

Сладок запах истории — теплый, густой,
Дымный запах, настойчивый запах, кровавый,
Но веселый и бравый, как солдатский постой.

Мне казалось, касалось совсем не меня
То, что рядом со мною происходило,
То, что год этот к памяти так пригвоздило.

Я конспекты писал, в общежитии жил.
Я в трамваях теснился, в столовых питался.
Я не сгинул тогда, почему-то остался.

Поздно ночью без стука вошли и в глаза
Потайным фонарем всем студентам светили,
Всем светили и после соседа схватили.

А назавтра опять я конспекты писал,
Винегрет покупал, киселем запивал
И домой возвращался в набитом трамвае,

И серьезные книги читал про Конвент,
И в газетах отыскивал скрытые смыслы,
Постепенно нащупывал верный ответ.

РУКА

Студенты жили в комнате, похожей
На блин,

но именуемой «Луной».

А в это время, словно дрожь по коже,
По городу ходил тридцать седьмой.

В кино ходили, лекции записывали
И наслаждались бытом и трудом,
А рядышком имущество описывали
И поздней ночью вламывались в дом.

Я изучал древнейшие истории,
Столетия меча или огня
И наблюдал события, которые
Шли, словно дрожь по коже, вдоль меня.

«Луна» спала. Все девять черных коек,
Стоявших по окружности стены.
Все девять коек, у одной из коих
Дела и миги были сочтены.

И вот вошел Доценко — комендант,
А за Доценко — двое неизвестных.
Вот этих самых — малых честных —
Мы поняли немедля по мордам.

Свет не зажгли. Светили фонарем.
Фонариком ручным, довольно бледным.
Всем девяти светили в лица, бедным.

Я спал на третьей, слева от дверей,
А на четвертой слева — англичанин.
Студент, известный вежливым молчаньем
И — нацией. Не русский, не еврей,

Не белорус. Единственный британец.
Мы были все уверены — за ним.

И вот фонарик совершил свой танец.
И вот мы услышали: «Гражданин».
Но больше мне запомнилась — рука.
На спинку койки ею опирался
Тот, что над англичанином старался.

От мышц натренированных крепка,
Бессовестная, круглая и белая.

Как лунный луч на той руке играл,
Пока по койкам мы лежали, бедные,
И англичанин вещи собирал.

ПРОЩАНИЕ

Добро и Зло сидят за столом.
Добро уходит, и Зло встает.
(Мне кажется, я получил талон
На яблоко, что познание дает.)

Добро надевает мятый картуз.
Фуражка форменная на Зле.
(Мне кажется, с плеч моих сняли груз
И нет неясности на всей земле.)

Я слышу, как громко глаголет Зло:
— На этот раз тебе повезло. —
И руку протягивает Добру
И слышит в ответ: — Не беру.

Зло не разжимает сведенных губ.
Добро разевает дырявый рот,
Где сломанный зуб и выбитый зуб,
Руина зубов встает.

Оно разевает рот и потом
Улыбается этим ртом.
И счастье охватывает меня:
Я дожил до этого дня.

ДАЛЬНИЙ СЕВЕР

Из поселка выскоблили лагерное.
Проволоку сняли. Унесли.
Жизнь обыкновенную и правильную,
Как проводку, провели.

Подключили городок к свободе,
Выключенной много лет назад,
К зауряд-работе и к заботе
Без обид, мучений и надсад.

Кошки завелись в полярном городе.
Разбирают по домам котят.
Битые, колоченые, поротые
Вспоминать плохое не хотят.

Только ежели сверх нормы выпьют
И притом в кругу друзей —
Вспомнят сразу, словно пробку выбьют
Из бутылки с памятью своей.

ОТЛОЖЕННЫЕ ТАЙНЫ

Прячет история в воду концы.
Спрячут, укроют и тихо ликуют.
Но то, что спрятали в воду отцы,
Дети выуживают и публикуют.

Опыт истории ей показал:
Прячешь — не прячешь,
Топишь — не топишь,
Кто бы об этом ни приказал,
Тайну не замедляешь — торопишь.

Годы проходят, быстрые годы,
Медленные проплывают года —
Тайны выводят на чистую воду,
Мутная их не укрыла вода.

И не в законы уже,
А в декреты,
Криком кричащие с каждой стены,
Тайны отложенные
И секреты
Скрытые
Превратиться должны.

* * *

Вопросы, словно в прошлом веке.
Вопросы — точно те же.
Кто виноват, как быть, что делать, —
Звучит сейчас не реже,
Чем в девятнадцатом столетьи,
Полузабытом, давнем,
Засыпанном пургой событий,
Как Дальний Север, дальнем.

И снова юный Чернышевский
И современный Герцен
Горят свободною душою,
Пылают добрым сердцем.

Метро привозит Огарева
На горы Воробьевы.
Но та же, слышанная, клятва
Звучит сегодня снова.

И слово старое: «Свобода»,
И древний лозунг: «Воля» —
Волнуют каждого, любого,
Как прежде и — поболе.

* * *

Идет словесная, но честная
Голосовая крикодрака,
И все ругательства известные
Звучат под крышею барака.

И доводы жужжат, как оводы,
И аграманты аргументов
Сияют по любому поводу
В грязи особенно заметно.

* * *

Как лучше жизнь не дожить,
а прожить
Мытому, катаному, битому,
Перебитому, но до конца не добитому,
Какому богу ему служить?
То ли ему уехать в Крым,
Снять веранду у Черного моря
И смыть волною старое горе,
Разморозить душевный Нарым?
То ли ему купить стопу
Бумаги, годной под машинку,
И все преступления и ошибки
Кидать в обидчиков злую толпу?
То ли просто вставать в шесть,
Бросаться к ящику: почта есть?
А если не принесли газету,
Ругать советскую власть за это.
Но люди — на счастье и на беду —
Сохраняются на холоду.
Но люди, уставшие, словно рельсы,
По которым весь мир паровозы прогнал,
Принимают добра любой сигнал.
Большие костры, у которых грелись
Души
в семнадцатом году,
Взметаются из-под пепла все чаще:
Горят!
Советским людям — на счастье,
Неправде и недобру — на беду.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ

Один — укажет на резон,
Другой — полезет на рожон.
Один попросит на прокорм,
Другой — наперекор.
А кто-то уговаривал: идите по домам!
В застенке разговаривал, на дыбу подымал.

Характер, темперамент,
Короче говоря,
Ходили с топорами
На бога и царя.
Ослушники и послушники,
Прислужники, холопы
У сытости, у пошлости, у бар или Европы,
Мятежник и кромешник, опричник, палач.

И все — в одном народе.
Не разберешь, хоть плачь.

* * *

Ванька-встанька — самый лучший Ванька.
Все другие ваньки залегли,
Но отечество прикажет: встань-ка!
Ванька-встанька поднялся с земли.

Потому ли, что пустые головы
Много легче кверху задирать,
То ли от фундамента тяжелого —
Это очень трудно разобрать.

Только — чуть отечество прикажет —
Ванька отряхнется и стоит.
Ежели отчизна промолчит,
Ванька тоже все-таки не ляжет.

* * *

Мы, пациенты, мы, пассажиры.
Мы — управляемые единицы.
Нам — не до жиру, были бы живы.

Все-таки как мы сейчас живем?
Мы, налогоплательщики, мы, вкладчики,
Бывшие подписчики на заем?

Слушатели, зрители, читатели,
Все-таки чего мы хотим?
За что голосуем мы, избиратели?

Для нас, для запаса первой очереди,
В чем он, где он, жизни смысл?
А также для запаса второй очереди?

Мы, которые служим срочную,
Мы, которые пьем столичную,
Что для нас главное, важное, прочное?

Где наше дело? В чем наша честь?
Наша, так сказать, сверхзадача?
План — есть. А совесть? — есть!
Значит, будет и большая удача.

* * *

Ведомому неведом
Ведущего азарт:
Бредет лениво следом.
Дожди глаза слезят.

В уме вопрос ютится,
Живет вопрос жильцом:
Чего он суетится?
Торопится куда?

Ведущий обеспечит
Обед или ночлег,
И хворого излечит,
И табаку — на всех.

Ведомый лениво
Ест, пьет, спит.
Ведущий пашет ниву.
Ведомый глушит спирт.

Ведущий отвечает.
Ведомый — ни за что.
Ведущий получает
Свой допдаек за то:

Коровье масло — 40 грамм
И папиросы — 20 грамм,
Консервы в банках — 20 грамм,
Все это ежедневно,
А также пулю — 9 грамм —
Однажды в жизни.

* * *

Все-таки стоило кашу заваривать —
Так поступать и так разговаривать,
Так наступать и так отступать:
С гордостью этакою выступать.

Эта осанка и эта надменность —
Необходимость и непереносимость.

Давим фасон (как в былые года).
Стиль (современное слово) показываем.
Честь (кому надо) всегда оказываем.
Кому же не надо — лишь иногда.

* * *

Значит, можно гнуть. Они согнутся.
Значит, можно гнать. Они — уйдут.
Как от гнуса, можно отмахнуться,
Зная, что по шее — не дадут.

Значит, если взяться так, как следует,
Вот что неминуемо последует:
Можно всех их одолеть и сдюжить,
Если только силы поднатужить,
Можно всех в бараний рог скрутить,
Только бы с пути не своротить.

Понято и к исполнению принято,
Включено в инструкцию и стих,
И играет силушка по жилушкам,
Напрягая, как веревки, их.

* * *

Активная оборона стариков,
Вылазка, а если можно — наступление,
Старых умников и старых дураков
Речи, заявления, выступления.

Может быть, последний в жизни раз
Это поколение давало
Бой за право врак или прикрас,
Чтобы все пребыло, как бывало.

На ходу играя кадыками,
Кулачонки слабые сжимая,
То они кричали, то вздыхали,
Жалуясь железно и жеманно.

Это ведь не всякому дается
Наблюдать, взирать:
Умирая, не сдается
И кричит рать.

* * *

Свобода не похожа на красавиц,
Которые,
 земли едва касаясь,
Проходят демонстраций впереди.
С ней жизнь прожить —
Не площадь перейти.

Свобода немила, немолода,
Несчастлива, несчастлива и скорее
Напоминает грязного жида,
Походит на угрюмого еврея,

Который правду вычитал из книг
И на плечах, от перхоти блестящих,
Уныло людям эту правду тащит
И благодарности не ждет от них.

* * *

Справедливость — не приглашают.
И не звуки приветных речей —
Всю дорогу ее оглашают
Крики
попранных палачей.

Справедливость — не постепенно
Доползет до тебя и меня.
На губах ее — белая пена
Грудью
рвущего ленту
коня.

ГЕРОИ

Отвоевался, отшутился,
Отпраздновал, отговорил.
В короткий некролог вместился
Весь список дел, что он творил.

Любил рубашки голубые,
Застольный треп и славы дым,
И женщины почти любые
Напропалую шли за ним.

Напропалую, наудачу,
Навылет жил, орлом и львом,
Но ставил равные задачи
Себе — с Толстым, при этом — с Львом.

Был солнцем маленькой планеты,
Где все не пашут и не жнут,
Где все — прозаики, поэты
И критики —
 бумагу мнут.

Хитро, толково, мудро правил,
Судил, рядил, карал, марал
И в чем-то Сталину был равен,
Хмельного флота адмирал,

Хмельного войска полководец,
В колхозе пьяном — бригадир.
И клял и чтил его народец,
Которым он руководил.

Но право живота и смерти
Выходит боком нам порой.
Теперь попробуйте измерьте,
Герой ли этот мой герой?

* * *

Все то, что не додумал гений,
Все то, пророк ошибся в чем,
Искупят десять поколений,
Оплатят кровью и трудом.

Так пусть цари и полководцы,
Князей и королей парад
Руководят не как придется, —
Как следует — руководят.

А ежели они не будут —
Так их осудят и забудут.

Я помню осень на Балканах,
Когда рассерженный народ
Валил в канавы, словно пьяных,
Весь мраморно-гранитный сброд.

Своих фельдмаршалов надменных,
Своих бездарных королей,
Жестоких и высокомерных,
Хотел он свергнуть поскорей.

Свистала в воздухе веревка,
Бросалась на чугун петля,
И тракторист с большой сноровкой
Валил в канаву короля.

А с каждым сбитым монументом,
Валявшимся у площадей,
Все больше становилось места
Для нас — живых. Для нас — людей.

«Ура! Ура!» — толпа кричала.
Под это самое «ура!»

Жизнь начиналася сначала
И песня старая звучала
Так, будто сложена вчера:

«Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».

ПАМЯТНИК ДОСТОЕВСКОМУ

Как искусство ни упирается,
Жизнь, что кровь, выступает из пор,
Революция не собирается
С Достоевским рвать договор.
Революция не решается,
Хоть отчаянно нарушается
Достоевским тот договор.

Революция
 это зеркало,
Что ее искривляло, коверкало,
Не желает отнюдь разбить.
Не решает точно и веско,
Как же ей поступить с Достоевским,
Как же ей с Достоевским быть.

Из последних, из сбереженных
На какой-нибудь черный момент —
Чемпионов всех нерешенных,
Но проклятых
 вопросов срочных,
Из гранитов особо прочных
Воздвигается монумент.

Мы ведь нивы его колосья.
Мы ведь речи его слога.
Голоса его многоголосья
И зимы его мы — пурга.

А желает или не хочет,
Проклянет ли, благословит —
Капля времени камень точит.
Так что пусть монумент стоит.

* * *

Место государства в жизни личности
Уменьшается до неприличности.
Люди не хотят читать газеты.
Им хватает слушать анекдоты.
Предыдущая эпоха, где ты?
Современник, кто ты,

кто ты?

Нужно все же знать, куда ты денешь
Лишние — в неделю — два часа,
Лишних сто рублей зарплатных денег,
За кого подашь ты голоса.
Впрочем,

голос нынче значит

Просто голос.

Им поют и плачут,

Шепчут, и смеются, и грустят,

А голосовать им

не хотят.

* * *

Два года разговоров, слухов,
Растущих, словно снежный ком.
А жизнь — упрямая старуха —
Идет по-прежнему — пешком.

Она не хочет торопиться
И медленно спешит вперед,
Нет-нет — нагнется за тряпицей
И пуговицу подберет.

А то присядет у дороги
И безо всяческих прикрас
В грязи все той же моет ноги,
В которой мыла столько раз.

Она усмешкою встречает
Предъявленные ей права
И ни за что не отвечает —
Одна, одна во всем права.

Итак, все ясно. Все понятно:
Идет старушка с посошком
И с солнышка выводит пятна
Шестирублевым порошком.

Что, шапку перед нею скинуть?
Иль палкою по шее двинуть?
Мол, медленно спешишь, карга!
Искать в ней друга иль врага?

Не знаю. Знаю то, что вижу,
А то, что вижу — говорю:
Старуха,
 всех старух не выше,
Идет пешком
 по ноябрю.

* * *

У государства есть закон,
Который гражданам знаком.
У антигосударства —
Не знает правил паства.

Держава, подданных держа,
Диктует им порядки.
Но нет чернил у мятежа,
У бунта нет тетрадки.

Когда берет бумагу бунт,
Когда перо хватает,
Уже одет он и обут
И юношей питает,

Отраду старцам подает,
Уже чеканит гривны,
Бунтарских песен не поет,
Предпочитает гимны.

Остыв, как старая звезда,
Он вышел на орбиту
Во имя быта и труда
И в честь труда и быта.

* * *

Вот что скажут потомки:
Славные люди — подонки,
Пиво пили подолгу
И не доносили по долгу.

Добрые люди — мещане,
Жить никому не мешали,
Газет почти не читали,
Побед совсем не считали.

В темном двадцатом веке
С четкой вывеской «Сталин»
Совесьть была в человеке,
Если пьяницей стал он.

Взгляда липкая потность,
Пальцев потная липкость
Не означают подлость,
Но означают лихость.

А мы, хорошие люди,
Мы — нехорошие люди.

* * *

Трагедии, представленной в провинции,
До центра затруднительно дойти.
Какие рвы и ямы на пути!
Когда еще добьешься до правительства!

Комедия, идущая в Москве
(Особенно с трагическим акцентом),
Поднимет шум! Не разобрать доцентам!
Не перемолвить врачам и молве!

Провинция, периферия, тыл,
Который как замерз, так не оттаял,
Где до сих пор еще не умер Сталин.
Нет, умер! Но доселе не остыл.

РЕБЕНОК ДЛЯ ОЧЕРЕДЕЙ

Ребенок для очередей,
Которого берут займы
У обязательных людей,
Живущих там же, где и мы:
Один малыш на целый дом!

Он поднимается чуть свет,
Но управляется с трудом.

Зато у нас любой сосед,
Тот, что за сахаром идет,
И тот, что за крупой стоит;
Ребеночка с собой берет
И в очереди говорит:

— Простите, извините нас,
Я рад стоять хоть целый час,
Да вот малыш, сыночек мой.
Ребенку хочется домой.

Как будто некий чародей
Тебя измазал с детства лжой,
Ребенок для очередей —
Ты одинаково чужой
Для всех, кто говорит: он — мой.

Ребенок для очередей
В перелицованном пальто,
Ты самый честный из людей!
Ты не ответишь ни за что!

* * *

Усталость проходит за воскресенье,
Только не вся. Кусок остается.
Он проходит за летний отпуск.
Только не весь. Остается кусочек.
Старость шьет из этих кусочков
Большое лоскутное одеяло,
Которое светит, но не греет.

Скорее рано, чем поздно, придется
Закутаться в него с головою.
Уволиться, как говорится, вчистую.
Без пенсии, но с деревянным мундиром.
Уехать верхом на двух лопатах
В общеизвестный дом инвалидов,
Стоящий, вернее сказать, лежащий
Ровно в метре от беспокойства,
От утомления, труда, заботы
И всяких прочих синонимов жизни.

* * *

Счастье — это круг. И человек
Медленно, как часовая стрелка,
Двигается к концу, то есть к началу,
Двигается по кругу, то есть в детство,
В розовую лысину младенца,
В резвую дошкольную проворность,
В доброту, веселость, даже глупость.

А несчастье — это острый угол.
Часовая стрелка — стоп на месте!
А минутная — спешит сомкнуться,
Загоняя человека в угол.

Вместо поздней лысины несчастье
Выбирает ранние седины
И тихонько ковыряет дырки
В поясе — одну, другую,
Третью, ничего не ожидая,
Зная все.
Несчастье — это знание.

* * *

Всяк по-своему волнуется —
Кто смеется, кто рыдает,
Кто же просто прет по улице —
Правила не соблюдает.

Без причины уважительной
Не нарушит грозных правил
Этот бледный и решительный,
Тот, что шаг ко мне направил.

Бесталанный, неприкаянный,
Если он свистка не слышит,
Видимо, не до свистка ему:
Слишком учащенно дышит.

Надо чутким быть, внимательным
К эдаким разиням бедным:
Не обидеть словом матерным,
Взглядом не задеть заметным.

* * *

Темный, словно сезонник,
Безрукий, как интеллигент,
Между трех сосенок
Проходу ему нет.

Безрукий, неприспособленный,
Никчемный, негодный,
Пóтом — не просóбленный,
Гордостью не гордый.

Книжечек — неудачных
Неторопливый кропатель,
Ах ты, неудачник,
Рыжий, конопатый.

Ах ты, никудышник,
Недотепа, тюха.
Общий, закадычный,
Что-то вроде друга.

Ах ты, заседатель
На каждом заседаньи,
Тихий посетитель,
Галочка на собраньи.
Галочка для кворума —
Вот твое содержанье
И также — твоя форма.

* * *

Я переехал из дома писателей
В дом рабочих и служащих,
Встающих в семь часов — затемно,
Восемь часов служащих.

В новом доме — куда просторнее.
Больше квартир, больше людей.
И эти люди куда достойнее
В смысле чувств, в смысле идей.

В новом доме раньше встают,
В среднем на два часа, чем в старом,
И любят, когда мясо дают,
И уже забыли про Сталина.

В новом доме мало собак,
Смирных, жирных и важных.
Зато на балконах много рубак
Белых, синих и красных.

Не долгие склоки, а краткие драки
Венчают возникшую неприязнь.
А на сплетни, слухи и враки
Всем жильцам наплевать.

В новом доме больше работниц,
Чем домработниц, и толпы ребят.
Наверно, о них меньше заботятся —
С утра до ночи в глазах рябят.

А дети старого дома, бывало,
Не подходили один к другому.
И потом их было очень мало,
Детей старого дома.

* * *

Словно ворот,
Что глотку сжимает,
Этот город
Мне в душу шибает,
Задевает меня, задувает,
Угашает и вновь воскрешает.

Мне не надо
Ни мяса, ни хлеба,
Лишь бы сверху
Московское небо,
Лишь бы были
И справа, и слева
Эти стили,
Что, право, нелепы.

Я не факел,
Я свечка простая,
Я не дуб,
Я травой прорастаю,
Я, как снег,
То пойду, то растаю,
И для всех
Я немного стою.

Я, продутый твоими ветрами,
Я, омытый дождями твоими,
Я, подъятый тобою, как знамя,
Я, убитый тобою во имя.

Во какое же имя — не знаю.
Называть это имя — не хочешь.
О Москва —
Штыковая, сквозная:
Сквозь меня
Ты, как рана, проходишь.

ДОМИК ПОГОДЫ

Домик на окраине.
В стороне
От огней большого города.
Все, что знать занадобилось мне
Относительно тепла и холода,
Снега, ветра, и дождя, и града,
Шедших, дувших, бивших
в этот век,
Сложено за каменной оградой
К сведенью и назиданью всех.

В двери коренастые вхожу.
Тóмы голенастые гляжу.
Узнаю с дурацким изумленьем:
В День Победы — дождик был!
Дождик был? А я его — забыл.

Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября
Сорок первого, плохого года
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор:
Злобу, что зияет до сих пор,
И позор, что этот день заполнил,
Больше ничего я не запомнил.

Незаметно время здесь идет.
Как романы, сводки я листаю.
Достаю пятьдесят третий год —
Про погоду в январе читаю.
Я вставал с утра пораньше — в шесть.
Шел к газетной будке поскорее,
Чтобы фельетоны про евреев

Медленно и вдумчиво прочесть.
Разве нас пургою остано­вишь?
Что бураны и метели все,
Если трижды имя Рабинович
На одной
 сияет полосе?

Месяц март. Умер вож­дь.
Радио глухими голоса­ми
Голосит: теперь мы са­ми, сами!
Вёдро было или, скажем, дождь,
Как-то не запомнилось.
 Забылось,
Что же было в этот са­мый день.
Помню только: сердце билось, билось
И передавали бюллетень.

Как романы, сводки я листаю.
Ураганы с вихрями считаю.
Нет, иные вихри нас мели
И другие ураганы мчали,
А погоды мы — не замечали,
До погоды — руки не дошли.

* * *

В звуковое кино не верящие
Много лет. Давным-давно
Не немое любим — немеющее,
Вдруг смолкающее
кино.

Обрывается что-то, портится,
Иссякает какой-то запас,
И лицо на экране корчится
И не может крикнуть на вас.

Речи темные, речи ничтожные
Высыхают, словно слеза.
Остаются одни непреложные
Лица, лики, очи, глаза.

Остается одно — выражение
Уст разъятых и глаз в огне,
Впечатляющее, как поражение
В мировой, многолетней войне.

* * *

Еврейским хилым детям,
Ученым и очкастым,
Отличным шахматистам,
Посредственным гимнастам —

Советую заняться
Коньками, греблей, боксом,
На ледники подняться,
По травам бегать босым.

Почаще лезьте в драки,
Читайте книг немного,
Зимуйте, словно раки,
Идите с веком в ногу,
Не лезьте из шеренги
И не сбивайте вех.

Ведь он еще не кончился,
Двадцатый страшный век.

* * *

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, значит, не крепко держался
За старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!».

С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И кроме старинных томов
Иных мне не надо домов.

САМОДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВА

Малявинские бабы уплотняют
Борисова-Мусатова
 усадьбы.
Им дела нет, что их создатель
Сбежал от уплотнений за границу.
Вот в чем самодвижение искусства!

ЧЕРДАК И ПОДВАЛ

Художники от слова «худо»
Сюда затешутся едва ли:
Не станут жить на том верху-то,
Не будут стыть — вот здесь, в подвале.

Художники от слова «скверно»
Живут вольготно и просторно.
И пылесосами, наверно,
Вытягивают пыль упорно.

Но я всегда приспособляюсь,
Везде устроюсь расчудесно —
В подвалах лучших я валяюсь,
Где сыро, холодно и тесно.

Там свет небесный редко брезжит,
Там с потолка нередко каплет,
Но золотые руки режут
Меня из пористого камня.

* * *

Я в первый раз увидел МХАТ
На Выборгской стороне,
И он понравился мне.

Какой-то клуб. Народный дом.
Входной билет достал с трудом.
Мне было шестнадцать лет.

«Дни Турбиных» шли в тот день.
Зал был битком набит:
Рабочие наблюдали быт

И нравы недавних господ.
Сидели, дыхание затая,
И с ними вместе я.

Ежели белый офицер
Белый гимн запевал —
Зал такт ногой отбивал.

Черная кость, красная кровь
Сочувствовали белой кости
Не с тем, чтоб вечерок провести.

Нет, черная кость и белая кость,
Красная и голубая кровь
Переживали вновь

Общелюдскую суть свою.
Я понял, какие клейма класть
Искусство имеет власть.

* * *

Хорошо или плохо,
Если стукнуло сорок,
Если старость скрипит
Потихоньку в рессорах,
Если чаще
Хватаешься за тормоза.
Сорок лет — это как?
Против мы или за?

Будь я, скажем, орлом
Этих лет или старше,
Это было б начало
Орлиного стажа.
Если б я червяком
По земле извивался,
Сорок раз бы я гибнул
И снова рождался.

Я не гордый орел
И не червь придорожный,
Я прописан не в небе,
Не в недрах земли,
Я — москвич!
Да! Решительный и осторожный,
Весь в дорожной пыли,
Но и в звездной пыли.

Так орлов не стреляли,
Так червей не топтали
То холодной войной,
То войною тотальной,
Как стреляли,
А также топтали меня.

Но сквозь трубную медь,
Меж воды и огня.
Где прополз, где пронесся,
А где грудью пробился,
Где огнем пропылал,
Где водой просочился
И живу!
Не бытую, и не существую,
А живу!

* * *

От копеечной свечи Москва сгорела.
За копеечную неуплату членских взносов
Выбыть не хочу из снежной Галилеи,
Из ее сугробов и заносов.

В Галилее бога распинают
С каждым днем решительнее, злее,
Но зато что-то такое знают
Люди Галилеи.

Не хочу — копейкою из дырки
В прохудившемся кармашке
Выпасть
из передраассветной дымки,
Из просторов кашки и ромашки.

Я плачу все то, что наложили,
Но смотрю невинными очами,
Чтобы, как лишенца, не лишили
Голоса

меня
в большом молчаньи.

Все наложенные на меня налоги
Я плачу за два часа до срока.
Не придется уносить мне ноги
Из отечества — его пророку.

Добровольных обществ
добровольный

Член
и займов истовый подписчик,
Я — не недовольный.

Я — довольный.
Мне хватает воздуха и пищи.

На земле, под небом
 мне хватает
И земли и неба голубого.
Только сердце иногда хватает.
Впрочем — как у каждого, любого.

* * *

Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.

Как ни посмотришь, сказано умно —
Ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господя-то бога?
Господь, он скажет: «Все равно говно!»

Господь не любит умных и ученых,
Предпочитает тихих дураков,
Не уважает новообращенных
И с любопытством чтит еретиков.

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

1961

ЧЕЛОВЕК

То не станция Бологое —
Полпути от Москвы к Ленинграду, —
У людей положенье другое —
Полпути от пустыни к саду.

Полдороги от тесного мира,
Что зовется атом и клетка,
До бескрайнего мира, где сиро,
Безвоздушно, мглисто и редко.

Человек — такой перекресток,
То простое и непростое,
Где пароль, рожденный на звездах,
Отзовется немедля в протоне.

Очень слабый. Сильнее сильных.
Очень малый. Очень великий.
Нет, недаром в глазах его синих
Отразились звездные лики.

СЛАВА

Газета пришла — про соседа:
Портрет и просторный «подвал».
Недаром он думал про это,
Надежды нам всем подавал.

И вот в непросторном подвале,
В котором прописан сосед,
Где только сейчас пировали,
Сереет холодный рассвет.

На чайном пластмассовом блюде
Плашмя прилегла колбаса.
За окнами льются и льются
Невидимые небеса.

Мы снова газету читаем,
В глаза мы друг другу глядим,
И пользу народа считаем,
И льгот для себя не хотим.

На синие жилы похожи
Большие его чертежи,
И синие жилы по коже
Прошли, как межи, рубежи.

Недаром и сох он, и высох,
Недаром сидел и старел.
Он искру горячую высек,
Людей осветил, обогрел.

А слава — совсем не заплата
На рубище ветхом глупца
И даже не наша зарплата,
Заплаченная до конца.

А слава совсем не спесива.
Она не горда, а добра,
Как это людское спасибо,
Гремевшее здесь до утра.

КАДРЫ — ЕСТЬ!

Кадры — есть! Есть, говорю, кадры.
Люди толпами ходят.
Надо выдумать страшную кару
Для тех, кто их не находит.

Люди — ракету изобрели.
Человечество до Луны достало.
Не может быть, чтоб для Земли
Людей не хватало.

Как ни плотна пелена огня,
Какая ни канонада,
Встает человек: «Пошлите меня!»
Надо — значит, надо!

Люди, как звезды,
Восходят затемно
И озаряют любую тьму.
Надо их уважать обязательно
И не давать обижать никому.

В СОРОК ЛЕТ

Ночной снегопад еще не примят
Утренней тропкой — до электрички.
Сотрясая мост через речку,
Редкие поезда гремят.
Белым-бело не от солнца — от снега.
Светло не от утра — светло от луны.
И жизнь предо мной — раскрытая книга
В читальном зале земной тишины.
И сорок лет,
 те, что прошли,
И те года, что еще придут,
Летят поземкой вдоль земли,
Покуда бредешь, ветерком продут.
Не хочешь отдыха и ночлега,
А только — шагать вдоль тишины,
Покуда бело не от солнца — от снега,
Светло не от утра — светло от луны.

ЧЕЛОВЕК С КНИГОЙ

Человек с книгой. Вообще человек
С любою книгой, в любом трамвае,
В душных залах библиотек
И даже пальцем листы разрывая,
Это почти всегда к добру:
Плохие книги встречаются редко.
Словно проба идет к серебру,
Идет к человеку книгой метка.
Моя надежда — читатели книг,
Хочется высказаться о них.
Они меня больше радуют,
Чем, например, вниматели радио.
Книгу почти всегда дочитают,
Даже библиотечную, не только свою.
Книгу берегут и переплетают,
Передают из семьи в семью.
Радио — на миг. Газета — на день.
Книга — на всю жизнь.
Книга — ключ. Он открыт и найден.
Крепче держись!
С детства помню роман
О рабочем, читавшем Ленина.
Всего подряд — по томам
Собрания сочинений.

Этот чудак не так уж прост.
Этот простак не так уж глуп —
К Ленину подравнивавшийся в рост,
Ходивший в книги его, как в клуб.
Душа болит, когда книги жгут
Ради политики или барыша.
Зато когда их берегут —
Радуетя душа.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАРОСТИ

Двадцатилетним можно говорить:
«Зайдите через год!» Сорокалетним
Простительно поверить сплетням
И кашу без причины заварить.
А старики не могут ошибаться
И ждать или блуждать.
Они не могут молча наблюдать
И падать или ушибаться.
Нет, слишком кость ломка у старика,
Чтоб ушибиться.
Слишком мало
Осталось дней.
И чересчур близка
Черта,
Которую не переходят.
Поэтому так часто к ним приходит
И высота и светлота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знаете, что делали в Афинах
С теми,
 кто в часы гражданских свар
Прятался в амбарах и овинах,
Не голосовал, не воевал?

Высылали этих воздержавшихся,
За сердца
 болезненно державшихся,
Говоривших: «Мы больны», —
Тотчас высылали из страны.

И в двадцатом веке обывателю
Отойти в сторонку не дают.
Атомов
 мельчайших
 разбиватели
Мелкоту людскую
 разобьют.

Как бы ни хватались вы за сердце,
Как ни отводили бы глаза,
По домам не выйдет отсидеться,
Воздержаться будет вам нельзя.

* * *

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.

* * *

Как лица удивительны
И как необычайны,
Когда они увидены
И — зоркими очами!

Какие лица — добрые,
Какие плечи — сильные,
Какие взгляды — бодрые,
Какие очи — синие.

Убавилось покорности,
Разверзлись уста,
И в город, словно конница,
Ворвалась красота.

ГАЗЕТЫ

Сколько помню себя, на рассвете,
Только встану, прежде всего
Я искал в ежедневной газете
Ежедневные *как и чего*.

Если б номер газетный не прибыл,
Если б говор газетный иссяк,
Я, наверно, немел бы, как рыба,
Не узнав, не прочтя, *что и как*.

Я болезненным рос и неловким,
Я питался в дешевой столовке,
Где в тринадцати видах пшено
Было в пищу студентам дано.

Но какое мне было дело,
Чем нас кормят, в конце концов,
Если будущее глядело
На меня с газетных столбцов?

Под развернутым красным знаменем
Вышли мы на дорогу свою,
И суровое наше сознание
Диктовало пути бытию.

* * *

Я люблю стариков, начинающих снова
В шестьдесят или в семьдесят — семьдесят пять,
Позабывших зарок, нарушающих слово,
Начинающих снова опять и опять.

Не зеленым, а серо-седым, посрамленным,
На колени поставленным, сшибленным с ног,
Закаленным тоской и бедой укрепленным
Я б охотней всего пособил и помог.

ГУРЗУФ

Просыпаюсь не от холода — от свежести
И немедля
 через борт подоконника
Прямо к морю прибывающему
 свешиваюсь,
Словно через борт парходика.

Крепкий город, вставленный в расселины,
Белый город, на камнях расставленный,
Как платок, на берегу расстеленный;
Словно краб, на берегу расправленный.

Переулки из камня ноздреватого,
Нетяжелого камня,
 дыроватого,
Переулки, стекающие в бухточки,
И дешевые торговые будочки.

И одна-единственная улица,
Параллельно берегу гудущая,
Переваливаясь,
 словно утица,
От скалы и до скалы идущая.

Там, из каждой подворотни высунувшись,
По четыре на пейзаж художника
То ли море, то ли скалы
 вписывают,
Всаживают
 в клеточку картончика.

Там рыбак проходит вперевалочку,
На ходу дожевывая булочку,
Призывая черненькую Галочку:
«Галочка! Не хочешь на прогулочку?»

Кто тут был, вернется обязательно,
Прошений придет и непрошений,
В этот город,
Словно круг спасательный,
Возле моря
На скалу
Положенный.

* * *

Куда стекает время,
Все то, что истекло?
Куда оно уходит —
И первое число,
И пятое, десятое,
И, наконец, тридцатое,
Последнее число?

Наверно, есть цистерны,
А может быть, моря,
И числа там, наверно,
Бросают якоря.
Их много, как в задачнике,
Там плещутся, как дачники,
Пятерки, и шестерки,
И тощие семерки,
И толстые восьмерки,
И двойки, и нули —
Все, что давно прошли.

* * *

Деление на виды и на роды,
Пригодное для зверя и для птицы,
Застынь у человека на пороге!
Для человека это не годится.

Метрической системою владея,
Удобно шею или брюхо мерить.
Душевым меркам невозможно верить:
Портновская идея!

Сердечной боли не изложат цифры,
И в целом мире нет такого шифра,
Чтоб обозначить горе или счастье.

Сначала, со мгновения зачатья,
Не формулируем, не выражаем,
Не загоняем ни в какие клетки,
На доли не делим, не разлагаем,
Помеченный всегда особой меткой
Человек.

* * *

Я не хочу ни капли потерять
Из новизны, меня переполняющей.
Я открываю новую тетрадь.
У белизны ее снегопылающей
Я белизну морозную займу.
Пусть первому любовному письму
Сегодня будет все равно по выпренности,
А по конечной, бессердечной искренности —
Последнему любовному письму.

Да, мне нужны высокие слова:
Оплаканные, пусть потом осмеянные,
Чтобы от них кружилась голова,
Как будто горным воздухом овевая,
Чтобы звенели медь и серебро
В заглавиях С в о б о д а и Д о б р о.

Заглавных букв поставлю паруса,
Чтобы рвались за ними буквы прочие,
Как рвутся демонстрации рабочие
За красным флагом — на врага, вперед!

Чтоб ветры парусину переполнили,
Чтоб пережили снова, перепомнили
Читатели,
куда их стих зовет.

НА ВЫСТАВКЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Откроются двери, и сразу
Врываешься
 в град мастеров,
Врываешься в царствие глаза,
Глядящего из-под вихров.
Глаз видит
 и пишет, как видит,
А если не выйдет — порвет.
А если удастся и выйдет —
На выставку тут же пошлет.
Там все, что открыто Парижем
За сотню последних годов,
Известно белесым и рыжим
Ребятам
 из детских садов.
Там тайная страсть к зоопарку,
К футболу
 открытая страсть
Написаны пылко и жарко,
Проявлены
 с толком
 и всласть.
Правдиво рисуется праздник:
Столица
 и спутник над ней.
И много хороших и разных,
Зеленых и красных огней.
Правдиво рисуются войны:
Две бомбы
 и город кривой.
А что, разве двух не довольно?
Довольно и хватит с лихвой.

Правдиво рисуются люди:
На плоском и круглом, как блюде,
Лице
наблюдательный взгляд
И глупые уши торчат.

Чтоб снова вот эдак чудесить,
Желания большего нет —
Меняю
на трижды по десять
Все тридцать пережитых лет.

ПУШКИНСКАЯ ПАЛКА

Та железная палка, что Пушкин носил,
Чтобы прибыло сил;
Та пудовая трость,
Чтобы — если пришлось —
Хоть ударь,
Хоть толкни,
Хоть отбрось!
Где она
И в который попала музей?
Крепко ль замкнута та кладовая?
Я хотел бы ту трость разломать для друзей,
Хоть по грамму ее раздавая.

У хороших писателей метод простой:
Повоюй, как Толстой.
Походи по Руси, словно Горький, пешком,
С посошком
И заплечным мешком.

Если есть в тебе дар, так стреляй, как Гайдар,
И, как Байрон, плыви по волнам.
Вот кому не завидовать следует нам,
Просто следовать следует нам.

ПОЭТЫ «ПРАВДЫ» И «ЗВЕЗДЫ»

Поэты «Правды» и «Звезды»,
Подпольной музы адъютанты!
На пьедесталы возвести
Хочу
забытые таланты.

Целы хранимые в пыли,
В седом архивном прахе
крылья.

Вы первые произнесли,
Не повторили, а открыли
Слова: *Народ, Свобода, Новь,*
А также *Кровь*
И в том же роде.
Слова те били в глаз и в бровь
И были вправду о народе.
И новь не старою была,
А новой новью
и — победной.

И кровь действительно текла
От рифмы тощей
К рифме бедной.
Короче не было пути
От слова к делу
у поэта,

Чем тот,
Где вам пришлось пройти
И умереть в борьбе за это!

ХУДОЖНИК

Художник пишет с меня портрет,
А я пишу портрет с художника,
С его гримас, с его примет,
С его зеленого макинтошика.

Он думает, что все прознал,
И психологию и душу,
Покуда кистью холст пронзал,
Но я мечты его нарушу.

Ведь он не знает даже то
Немногое, что я продумаю
О нем и про его пальто —
Щеголеватое, продутое.

Пиши, проворная рука,
Додумывайся, кисть, догадывайся,
Ширяй, как сокол в облака,
И в бездну гулким камнем скатывайся.

Я — человек. Я не ковер.
Я думаю, а не красуюсь.
Не те ты линии провел.
Куда труднее я рисуюсь.

* * *

Широко известен в узких кругах,
Как модерн, старомоден,
Крепко держит в слабых руках
Тайны всех своих тягомотин.
Вот идет он, маленький, словно великое
Герцогство Люксембург.
И какая-то скрипочка в нем пиликает,
Хотя в глазах запрятан испуг.
Смотрит на меня. Жалеет меня.
Улыбочка на губах корчится.
И прикуривать даже не хочется
От его негреющего огня.

* * *

Маска Бетховена на ваших стенах.
Тот, лицевых костей, хорал.
А вы что, игравали в сценах,
В которых музыкант играл?

Маска Бетховена и бюст Вольтера —
Две непохожих
на вас головы.
И переполнена вся квартира,
Так что в ней делаете вы?

* * *

Хранители архивов (и традиций),
Давайте будем рядышком трудиться!
Рулоны живописи раскатаем
И папки графики перелистаем.
Хранители! В каком горниле
Вы душу так надежно закалили,
Что сохранили все, что вы хранили,
Не продали, не выдали, не сбыли.
Пушкой же акварельные рисунки
Нам дышат в души и глядят в рассудки,
Чтоб слабые и легкие пастели
От нашего дыханья не взлетели.
У русского искусства есть запасник,
Почти бесшумно, словно пульс в запястье,
Оно живет на этажах восьмых
И в судьбах
 собирателей
 прямых.

Н. Н. АСЕЕВ ЗА РАБОТОЙ

(Очерк)

Асеев пишет совсем неплохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.

С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?

Они — пустяки!

Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,
И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным — снайперский взгляд.
И словно весною — щелка на щелку —
Рифма лезет на рифму цепко.
И вдруг серебрет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,
И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается — до дна.
И все повадки —

пенсионера,

И все поведение —

старика

Становятся поступью пионера,
Которая, как известно, легка.

И строфы равняются — рота к роте,
И свищут, словно в лесу соловьи,
И все это пишется на обороте
Отложенной почему-то статьи.

* * *

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

Угасают большие огни
И гореть за себя поручают.
Орден не дождался он —
Сразу памятники получают.

* * *

Перевожу с монгольского и с польского,
С румынского перевожу и с финского,
С немецкого, но также и с ненецкого,
С грузинского, но также с осетинского.
Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.
Перевожу смелее все и бережней
И старый ямб, и вольный стих теперешний.
Как в Индию зерно для голодающих,
Перевожу правдивых и дерзающих.
А вы, глашатаи идей порочных,
Любой земли фразеры и лгуны,
Не суйте мне, пожалуйста, подстрочник —
Не будете вы переведены.
Пучины розни разделяют страны.
Дорога нелегка и далека.
Перевожу,
 как через океаны,
Поэзию
 в язык
 из языка.

* * *

Я перевел стихи про Ильича.
Поэт писал в Тавризе за решеткой.
А после — сдуру или сгоряча —
Судья вписал их в приговор короткий.
Я словно тряпку вынул изо рта —
Тюремный кляп, до самой глотки вбитый.
И медленно приподнялся убитый,
И вдруг заговорила немота.

Как будто губы я ему отер,
И дал воды, и на ноги поставил:
Он выбился — просветом из-под ставен,
Пробился, как из-под золы костер.

Горит, живет.
Как будто, нем и бледен,
Не падал он
И я — не поднимал.
А я сначала только слово

Ленин

Во всем восточном тексте
понимал.

НАЗЫМ

Словно в детстве — веселый,
Словно в юности — добрый.
Словно тачку на каторге и не толкал.
Жизнь танцует пред ним молодой Айседорой,
Босоногой плясуньей Айседорой Дункан.

Я немало шатался по белому свету,
Но о турках сужу по Назыму Хикмету.
Я других не видал, ни единой души,
Но, по-моему, турки — они хороши!
Высоки они, голубоглазы и русы,
И в искусстве у них подходящие вкусы,
Ильича

на студенческих партах
прочли,

А в стихе
маяковские ритмы учли.

Только так и судите народ —
по поэту.

Только так и учите язык —
по стихам.

Пожелаем здоровья Назыму Хикмету,
Чтобы голос его никогда не стихал.

О Л. Н. МАРТЫНОВЕ

(Статья)

Мартынов знает,
какая погода
Сегодня
в любом уголке земли:
Там, где дождя не дождутся по году,
Там, где моря на моря стекли.

Идет Мартынов мрачнее тучи.
— ?
— Над всем Поволжьем опять — ни тучи.
Или: — В Мехико-сити мороз,
Опять бродяга в парке замерз.

Подумаешь, что бродяга Гекубе?
Небо над нами все голубей.
Рядом с нами бодро воркует
Россыпь общественных голубей.

Мартынов выщурит синие, честные,
Сверхреальные свои глаза
И шепчет немногие ему известные
Мексиканские словеса.

Тонко, но крепко, как ниткой суровой,
Он связан с этой зимой суровой,
С тучей, что на Поволжье плывет,
Со всем, что на этой земле живет.

* * *

Снова стол бумагами завален.
Разгребу, расчищу уголок,
Между несгораемых развалин
Поищу горячий уголек.

Вдохновений ложные начала,
Вороха сомнительных программ —
Чем меня минута накачала —
На поверку вечности отдам.

А в тупую неподвижность вечности,
В ту, что не содвинут, не согнут,
Посмотрю сквозь призму быстротечности
Шустрыми глазищами минут.

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

(Воспоминания)

У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:

— Боря! Здравствуйте! Это вы?

А я-то думала, тебя убили.

А ты живой. А ты майор.

Какие вы все хорошие были.

А я вас помню всех до сих пор.

Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выданный,
Липнул.

И был — майор.

И — живой.

Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала, — сказала Ксения. —
Не помню что, но я сыта.

Купи мне лучше цветы

синие,

Люблю смотреть на эти цвета.

Тучный Островский, поджав штiblеты,

Очистил место, где сидеть

Ее цветам синего цвета,

Ее волосам, начинавшим седеть.

И вот,

моложе дубовой рощицы,

И вот,

стариннее

дубовой сохи,

Ксюша голосом

сельской пророчицы

Запричитала свои стихи.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Толстовско-тургеневский, орловско-курский —
Самый точный.
И волжский говор — самый вкусный.
И русско-восточный
Цветистый говор там, за Казанью,
И южный говор —
Казачьи песни и сказанья,
Их грусть и гонор.
Древлехранительница Новгородчина —
Там песню слышишь.
И Вологодчина, где наворочены
Стога пословиц.
Я как ведро, куда навалом
Язык навален,
Где в тесноте, но без обиды
Слова набиты.
Как граждане перед законом,
Жаргон с жаргоном
Во мне равны, а все акценты
Хотят оценки.

* * *

Хорошо, когда хулят и хвалят,
Превозносят или наземь валят,
Хорошо стыдиться и гордиться
И на что-нибудь годиться.
Не хочу быть вычеркнутым словом
В телеграмме — без него дойдет! —
А хочу быть вытянутым ломом,
В будущее продолбавшим ход.

* * *

Поэтический язык — не лютеранская обедня,
Где чисто, холодно, светло и — ни свечей,
Где лгут про ад, молчат про рай и угрожает
Где нету музыки в словах, а в слове — нету
ни образóв,
проповедник,
образов.

Поэтический язык — солдатский митинг перед боем.
Нет времени для болтовни, а слово — говори любое,
Лишь бы хватало за сердца, лишь бы дошло,
Лишь бы победе помогло.
лишь бы прожгло,

* * *

Поэт не телефонный,
А телеграфный провод.
Событие — вот законный
Для телеграммы повод.

Восстания и войны,
Рождения и гибели
Единственно достойны,
Чтоб их морзянкой выбили.

А вот для поздравления
Мне телеграфа жаль
И жаль стихотворения
На мелкую печаль.

Мне жаль истратить строки
И лень отдать в печать,
Чтоб малые пороки
Толково обличать.

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ

Правдивые пропорции, которым
Обязаны и Новгород и Форум
Хотя бы тем, что столько лет подряд
Стоят;

И красок нетускнеющие смеси,
Блистающие безо всякой спеси,
Как синька, что на небеса пошла
И до сих пор светла;

Народа самодельные законы —
Пословицы, где воля и препоны,
А также разум, радость и тоска,
А глянь — одна строка;

И лозунги, венчающие опыт
Трех лет войны, и недовольства ропот,
И очереди, на морозе — дрожь,
Словцом «Даешь!».

Нет, есть чему учиться под Луною,
Чтоб старину не спутать с новизною,
И есть зачем стремиться на Луну,
Чтоб со старинкою
не спутать старину.

Нет, горе гордым,
слава неспесивым,
Которые и слышат и глядят
И каждый день сердечное спасибо,
«Спасибо за науку!»
говорят.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

Я вывернул события мешок
И до пылинки вытряс на бумагу.
И, словно фокусник, подобно магу,
Загнал его на беленький вершок.
Вся кровь, что океанами текла,
В стакан стихотворенья поместилась.
Вся мировая изморозь и стылость
Покрыла гладь оконного стекла.
Но солнце вышло из меня потом,
Чтобы расплавить мировую наледь
И путникам усталым просигналить,
Каким им ближе следовать путем.

Все это было на одном листе,
На двадцати плюс-минус десять строчках.
Поэты отличаются от прочих
Людей
 приверженностью к прямоте
И краткости.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПОЭТАМ

Отбывайте, ребята, стаж.
Добывайте, ребята, опыт.
В этом доме любой этаж
Только с бою может быть добыт.
Легче хочешь?

Нет, врешь.

Проще, думаешь?

Нет, плоше.

Если что-нибудь даром возьмешь,
Это выйдет себе дороже.

Может быть, ни одной войны
Вам, ребята, пройти не придется.
Трижды

МИР отслужить вы должны:

Как положено,
Как ведется.

Здесь, в стихах, ни лести, ни подлости
Недействительна власть.
Как на Северном полюсе:
Ни купить, ни украсть.

У народа нету времени,
Чтоб выслушивать пустяки.
В этом трудность стихотворения
И задача для вашей строки.

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

Шел фильм.
И билетерши плакали
По восемь раз
Над ним одним.
И парни девушек не лапали,
Поскольку стыдно было им.

Глазами горькими и грозными
Они смотрели на экран,
А дети стать стремились взрослыми,
Чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
Под музыки дешевый гром
Из смеси черного и белого
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
Сюжет кричал, как человек,
И пробуждались чувства добрые
В жестокий век,
В двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
И осуждался произвол.
Все вместе это называлось,
Что просто фильм такой пошел.

* * *

Похожее в прозе на ерунду
В поэзии иногда
Напомнит облачную череду,
Плывущую на города.

Похожее в прозе на анекдот,
Пройдя сквозь хорей и ямб,
Напоминает взорванный дот
В соцветьи воронок и ям.

Поэзия, словно разведчик, в тиши
Просачивается сквозь прозу.
Наглядный пример: «Как хороши,
Как свежи были розы».

И проза, смиренная пахота строк,
Сбивается в елочку или лесенку.
И ритм отбивает какой-то срок.
И строфы сползаются в песенку.

И что-то входит, слегка дыша,
И бездыханное оживает:
Не то поэзия, не то душа,
Если душа бывает.

ЧИТАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЭТА

Читатель отвечает за поэта,
Конечно, ежели поэт любим,
Как спутник отвечает за планету
Движением
и всем нутром своим.

Читатель — не бессмысленный кусок
Железа,
в беспредельность пущенный.
Читатель — спутник,
И в его висок
Без отдыха стучится жилка Пушкина.

Взаимного, большого тяготения
Закон
не тягостен и не суров.
Прекрасно их согласное движение.
Им хорошо вдвоем среди миров.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли
Мы,
 что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие
 степенно
Отступает в логарифмы.

ЧУДЕСА

У археологов на лад идут дела,
И ни одна эпоха не дала
Астроботаникам такого взлета:
Ведь каждый день, как будто на работу,
К нам чудеса приходят ровно в семь —
С газетами. И это ясно всем.

Все словно бы на вечере гипноза
В районном клубе, где за три рубля
Заезжий маг, усами шевеля,
Прокалывает ими прозу;
Как в автомате: за пяток монет —
Билет,
 а нет —
 колотишь в стенку нервно.

И сходит удивление на нет
От чуда, что творимо ежедневно.
Так соберем же, свинтим по детали
Восторг, что так приличен чудесам,
И двух собак, что до звезды летали,
Погладим с завистью по телесам.

ОКРАИНА

Вот они, дома конструктивистов,
Заводской окраины краса.
Покажи их, Подмосковье,
выставь
Первой пятилетки корпуса!

Выставь зданья серые и честные,
Как шинель солдатского сукна,
Где живут станочники известные —
Громкие в районе имена.

Выставь окна светлые, огромные,
Что глядят на юг и на восток.
Школы стройные, дороги ровные,
Фабрики, заводы и мосторг.

Именем режима экономии,
Простоте навечно поклянясь,
Строй квартиры светлые и новые,
От старья колонн отворотясь!

Пусть стоит исполненной клятвою,
Никаких излишеств не тая,
Чистота твоя и светлота твоя,
Милая окраина моя.

СТАРУХИ И СТАРИКИ

В. Сякину

Старух было много, стариков было мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
А старухи, рванув гардеробные дверцы,
Доставали костюм выходной, суконный,
Покупали гроб дорогой, дубовый
И глядели в последний, как лежит законный,
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и дояга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.

* * *

Комната кончалась не стеной,
А старинной плотной занавеской,
А за ней — пронзительный и резкий,
Словно жестяной,
Голос жил и по утрам
Требовал настойчиво газеты,
А потом негромко повторял:
— Принесли уже газеты?

Много лет, как паралич разбил,
Все здоровье — выпил.
Все как есть сожег и истребил,
Этого не выбил.
Этой страсти одолеть не смог.

Временами глухо
Слышалось, как, скорчившись в комок,
Плакала старуха.

— Больно? — спросишь.
— Что ты, — говорит. —
Засуха!
В Поволжье хлеб горит.

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом, приземистый, деревянный!
Ты шатаешься, словно пьяный,
И летишь в мировое пространство,
За фундамент держась с трудом.
Все равно ты хороший. Здравствуй,
Старый дом!

Я въезжаю в тебя, как в державу,
Крепко спящую сотый год.
Я замок твой древний и ржавый
От годов и от влажных погод
Ковыряю ключом тяжелым.

И звенит мелодично желоб
От вращения того ключа.
И распахиваются двери
И пускают меня, ворча
Про какое-то недоверье
И о преданности лепеча.

Старый дом, все твои половицы
Распевают, как райские птицы.
Все твои старожилы — сверчки
Позабыли свои шестки
И гуляют по горницам душным,
Ходят, бродят просто пешком.
Я встречался с таким непослушным,
Не признавшим меня сверчком.

Закопченный и запыленный,
Словно адским огнем опаленный,
Словно мертвой водой окропленный,
От меня своих бед не таи!

Потемнели твои картины,
Пожелтели твои гардины
Превратились давно в седины
Золотистые кудри твои.

О ломоть предыдущего века!
Благодарствую, старый калека,
За вполне откровенный прием —
С дребезжащими, сиплыми воплями.
Я учусь убираться вовремя
На скрипучем примере твоём.

* * *

На двадцатом этаже живу
Не без удовольствия и выгоды:
Вижу под собою всю Москву,
Даже кой-какие пригороды.
На двадцатом этаже окно
Небом голубым застеклено,
Воздух чище, и соседи тише,
Больше благости и светлоты,
И не смеют заводиться мыши —
Мыши не выносят высоты,
Обдирая о балкон бока,
Мимо пролетают облака.
Майский гром и буря вешняя,
Лужи блеск далекий на земле.
Мой этаж качается скворешнею
У нижестоящих

на стволе.

На полсотни метров ближе к солнцу,
На полсотни ближе к небосклону.
А луна мимо меня несется
Пропросту на уровне балкона.
Если лифт работает исправно,
Мило жить на высоте и славно.

* * *

Хлеба — мало. Комнаты — мало.
Даже обеда с квартирой — мало.
Надо, чтоб было куда пойти,
Надо, чтоб было с кем не стесняться,
С кем на семейной карточке сняться,
Кому телеграмму отбить в пути.

Надо не мало. Надо — много.

Плохо, если живем неплохо.
Давайте будем жить блестяще.
Логика хлеба и воды,
Логика беды и еды
Все настойчивее, все чаще
Вытесняется логикой счастья.
Наша измученная земля
Заработала у вечности,
Чтоб счастье отсчитывалось
от бесконечности,
А не от абсолютного нуля.

ДЕРЕВЬЯ И МЫ

Я помню квартиры наши холодные
И запах беды.
И взрослых труды.
Мы все были бедные.
Не то чтоб голодные,
А просто — мало было еды.

Всего было мало.
Всего не хватало
Детям и взрослым того квартала,
Где рос я. Где по снегу в школу бежал
И в круглые ямы деревья сажал.

Мы все были бедные. Но мы не вешали
Носов,
 мокрватых от многих простуд,
Гордо, как всадники, ходили пешие
Смотреть, как наши деревья растут.

Как тополь (по-украински — явор),
Как бук (по-украински — бук)
Растут, мужают. Становится явью
Дело наших собственных рук.

Как мы, худые,
Как мы, зеленые,
Как мы, веселые и обозленные,
Не признающие всяческой тьмы,
Они тянулись к свету, как мы.

А мы называли грядущим будущее
(Грядущий день — не завтрашний день)
И знали:

 дел несделанных груды еще

Найдутся для нас, советских людей.
А мы приучались читать газеты
С двенадцати лет,
С десяти,
С восьми
И знали:

 пять шестых планеты
Капитализм,
А шестая — мы.

Капитализм в нашем детстве выгрыз
Поганую дырку, как мышь в хлебу,
А все же наш возраст рос, и вырос,
И вынес войну
На своем горбу.

* * *

Я учитель школы для взрослых,
Так оттуда и не уходил —
От предметов точных и грозных,
От доски, что черней чернил.

Даже если стихи слагаю,
Все равно — всегда между строк —
Я историю излагаю,
Только самый последний кусок.

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.
До конца мы еще не растратили
Свой учительский авторитет.

Мы не просто рифмы нанизывали —
Мы добьемся такой строки,
Чтоб за нами слова записывали
После смены ученики.

* * *

Высоко́ он голову носил,
Высоко́-высо́ко.
Не ходил, а словно восходил,
Словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка
Рядом с теплой и живой рукой.
Все равно — не горько и не жалко.
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.
Друг мой — командирский танк.
Если он прикажет: «Делай так!» —
Я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.
Я покуда ученик.
Я учусь не очень скоро.
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,
Вспоминаю,
Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!»
Двадцать лет назад в начале мая.

ТОВАРИЩ

Лозунг времени «Надо так надо!»
От него я впервые слышал,
Словно красное пламя снаряда,
Надо мной он прополыхал.

Человеку иного закала,
Жизнь казалась ему лишь судьбой,
Что мотала его и толкала,
Словно тачку перед собой.

Удивленный и пораженный
Поразительной долей своей,
Он катился тачкой груженой,
Не желая сходить с путей.

Дело, дело и снова — дело.
Слово? Слово ему — тоска.
Нет, ни разу его не задела
Никакого стиха строка.

Но когда мы бродили вместе,
Он, защелкнутый, как замок,
Вдруг мурлыкал какую-то песню
Так, что слов разобрать я не мог.

ИВАНЫ

Рассказывают,
 что вино развязывает
Завязанные насмерть языки,
Но вот вам факт,
 как, виду не показывая,
Молчали на допросе «мужики».

Им водкой даровою
 в душу
 лезут ли,

Им пыткой ли
 пятки горячат, —

Стоят они,
 молчат они,
 железные!

Лежат они,
 болезные,
 молчат!

Не выдали они
 того, что ведали,
Не продали
 врагам родной земли
Солдатского пайка военных сведений,
Той малости,
 что выдать бы могли.

И, трижды обозвав солдат
 Иванами,

Четырежды
 им скулы расклевав,
Их полумертвыми
 и полупьяными

Поволокли
приканчивать
в подвал.

Зато теперь,
героям в награждение,
Иных имен
отвергнувши права,
Иваном называет при рождении
Каждого четвертого
Москва.

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ

(Рассказ)

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши,
Вы, спички-палочки (так это называлось),
Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
 раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерти!
Не уставай! Потей
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта
Сорок второго,
 утром на заре
Под звуки переливчатого мата
Ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположенье сил
И то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребенком,
Сказал,
 хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,

Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он сплясал.
Без лести,
От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
И дунул вальс про голубой Дунай:
Такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,
Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.

Мне — что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

СОЛДАТАМ 1941-ГО

Вы сделали все, что могли.

(Из песни)

Когда отступает пехота,
Сраженья (на время отхода)
Ее арьергарды дают.
И гибнут хорошие кадры,
Зачисленные в арьергарды,
И песни при этом поют.

Мы пели: «Вы жертвою пали»,
И с детства нам в душу запали
Слова о борьбе роковой.
Какая она, роковая?
Такая она, таковая,
Что вряд ли вернешься живой.

Да, сделали все, что могли мы.
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый — убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

1945 ГОД

На что похожи рельсы, взрывом скрученные,
Весь облик смерти, смутный, как гаданье.
И города,

 большой войной измученные —
Ее тремя или пятью годами?

Не хочется уподоблять и сравнивать
Развалины, осколки и руины,
А хочется расчищать, разравнивать
И Белоруссию и Украину.

Среди иных годов многозаботных,
Словами и работами заполненных,
Год сорок пятый

 навсегда запомнился,

Как год-воскресник

Или год-субботник.

Усталые работали без усталости.

Голодные, как сытые, трудились.

И ложкою не проверяя: густо ли? —

Без ропота за пшенный суп садились.

Из всех камней, хрустевших под ногами,

Сперва дворцы, потом дома построили,

А из осколков, певших под ногами,

Отплавляли и раскатали

 кровли.

На пепелище каждом и пожарище

Разбили сад или бульвар цветочный.

И мирным выражением «пожалуйста»

Сменилось фронтовое слово «точно».

А кителя и всю обмундировку:

И шинеля, и клеши, и бушлаты —

Портные переушивали ловко:

Войну кроили миру на заплатки.

И постепенно замазывались трещины,

Разглаживались крепкие морщины,

И постепенно хорошели женщины,

И веселели хмурые мужчины.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я на палубу вышел, а Волга
Бушевала, как море в грозу.
Волны бились и пели. И долго
Слушал я это пенье внизу.

Звук прекрасный, звук протяженный,
Звук печальной и чистой волны:
Так поют солдатские жены
В первый год многолетней войны.

Так поют. И действительно, тут же,
Где-то рядом, как прядь у виска,
Чей-то голос тоскует и тужит,
Песню над головой расплескав.

Шел октябрь сорок первого года.
На восток увозил пароход
Столько горя и столько народа,
Столько будущих вдов и сирот.

Я не помню, что беженка пела,
Скоро голос солдатки затих.
Да и в этой ли женщине дело?
Дело в женщинах! Только — в других.

Вы, в кого был несчастно влюбленным,
Вы, кого я счастливо любил,
В дни, когда молодым и зеленым
На окраине Харькова жил!

О девчонки из нашей школы!
Я вам шлю свой сердечный привет,
Позабудьте про факт невеселый,
Что вам тридцать и более лет.

Вам еще блистать, красоваться!
Вам еще сердца потрясать!
В оккупациях, в эвакуациях
Не поблекла ваша краса!

Не померкла, нет, не поблекла!
Безвозвратно не отошла,
Под какими дождями ни мокла,
На каком бы ветру ни была!

* * *

На том пути в Москву из Граца,
В Москву из Вены, в Москву — с войны,
Где мы собирались отыгаться,
Свое получить мы были должны,

На полпути, в одном государстве,
В каком-то царстве, житье-бытье,
Она сказала мне тихо: «Здравствуй!»,
Когда я поднял глаза на нее.

Мужчины и женщины этого года,
Одетые в формы разных держав,
Зажатые формой, имея льготу
На получение жизни одной,

Мужчины и женщины разных наций,
Как будто деревья разных пород,
Разноголосицу всех интонаций
Сливали в единый язык и народ.

Сливали и славили то, что выжили,
Что живы, что молоды все почти,
Что нынче лучше вчерашнего, выше ли,
Потом разберемся, по пути.

Дела плоховатые стали плохими.
Потом они стали — хуже нет.
Но я познакомился с женщиной; имя,
Имя было Жанет.

А что я, стану рыться в паспорте?
Она была Жанет — для меня.
Мне было тогда как слепцу на паперти.
Она пришла, беду сменя.

Беду, которая дежурила
Бессменной сиделкой над головой,
Она обманула, то есть обжулила.
Я понял, что я молодой и живой.

А все это было в 45-м
Году и сразу же после войны,
На том пути обратном, попятном,
Пройти который мы были должны.

ПЕСНЯ

На перекрестке пел калека.

Д. Самойлов

Ползет обрубок по асфальту,
Какой-то шар,
Какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
Простуженнейшим голоском.

Что он поет,
К кому взывает
И обращается к кому,
Покуда улица зевает?
Она привыкла ко всему.

— Сам — инвалид.
Сам — второй группы.
Сам — только год пришел с войны. —
Но с ним решили слишком грубо,
С людьми так делать не должны.

Поет он мысли основные
И чувства главные поет,
О том, что времена иные,
Другая эра настает.

Поет калека, что эпоха
Такая новая пришла,
Что никому не будет плохо,
И не оставят в мире зла,

И обижать не будут снохи,
И больше пенсию дадут,
И все отрубленные ноги
Сами собою прирастут.

ФУТБОЛ

Я дважды в жизни посетил футбол
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.

А больше я не помню.

Но в третий раз...

Но, впрочем, в третий раз
Я нацепил гремучие медали,
И ордена, и множество прикрас,
Которые почти за дело дали.
Тяжелый китель на плечах влача,
Лицом являя грустную солидность,
Я занял очередь у врача,
Который подтверждает инвалидность.

А вас комиссовали или нет?

А вы в тех поликлиниках бывали,

Когда бюджет

Как танк на перевале:

Миг — и по скалам загремел бюджет?

Я не хочу затягивать рассказ

Про эту смесь протеза и протеста,

Про кислый дух бракованного теста,

Из коего повылепили нас.

Сидевший рядом трясся и дрожал.

Вся плоть его переливалась часто,

Как будто киселю он подражал,

Как будто разлетался он на части.

В любом движеньи этой дрожью связан,

Как крестным знаком верующий черт,

Он был разбит, раздавлен и размазан

Войной: не только сплюснут,

но — растерт.

— И так — всегда?

Во сне и наяву?

— Да. Прыгаю, а все-таки — живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
Запрыгала, как дождик, на губе.)
— Во сне — получше. Ничего себе.
И — на футболе. —
Он привстал со стула,
И перестал дрожать,
И подошел
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновенье
И свежим, словно после омовенья.
(По-видимому, вспомнил про футбол.) —
На стадионе я — перестаю! —
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!

РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

От имени коронного суда
Британского, а может быть, и шведского,
Для вынесенья приговора веского
Допрашивается русская беда.

Рассуживает сытость стародавняя,
Чьи корни — в толще лет,
Исконный недоед,
Который тоже перешел в предание.

Что меряете наш аршин
На свой аршин, в метрической системе?
А вы бы сами справились бы с теми,
Из несших свастику бронемашин?

Нет, только клином вышибают клин,
А плетью обуха не перешибают.

Ведь бабы до сих пор перешивают
Из тех знамен со свастикой,
Гардин
Без свастики,
Из шинелёй.

И до сих пор хмельные инвалиды
Кричат: — Кто воевал, тому налей!
Тот первый должен выпить без обиды.

* * *

Палатка под Серпуховом. Война.
Самое начало войны.
Крепкий, как надолб, старшина,
И мы вокруг старшины.

Уже июльский закат погасал,
Почти что весь сгорел.
Мы знаем: он видал Хасан,
Халхин-Гол смотрел.

Спрашиваем, какая она,
Война.
Расскажите, товарищ старшина.

Который день эшелона ждем.
Ну что ж — не под дождем.
Палатка — толстокожий брезент.
От кислых яблок во рту оскомины.
И старшина — до белья раздет —
Задумчиво крутит в руках соломину.

— Яка ж вона буде, ця війна,
а хто її зна.
Вот винтовка, вот граната.
Надо, значит, надо воевать.
Лягайте, хлопцы: завтра надо
В пять ноль-ноль вставать.

* * *

На спину бросаюсь при бомбежке —
По одежке протягиваю ножки.
Тем не менее мы поглядеть должны
В черные глаза войны.

На спину! А леж на спине,
Видно мне
Самолеты, в облаках скрывающиеся,
И как бомба от крыла
Спину грузную оторвала,
Бомбы ясно вижу отрывающиеся.

И пока не стану горстью праха,
Не желаю право потерять
Слово гнева, а не слово страха
Говорить и снова повторять.

И покуда на спине лежу,
И покуда глаз не отвожу —
Самолетов не слабей, не плоше!

Как на сцену,
Как из царской ложи,
Отстраняя смерть,
На смерть гляжу.

РККА

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
Отступавшую спокойно, здорово,
Наступавшую толково, —
Я застал в июле сорок первого,
Но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше — были срублены
Года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
Гордое именованье: Красная,
Лжа не замарала и напраслина,
С кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
Нас — зеленых, глупых, необстрелянных —
Обучали воевать и выучили.
Помню их, железных и уверенных.
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежевыведших
Из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
Переживших Колыму и выживших,
Почестей не ждущих —
Ждущих смерти или же победы,
Смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
Были, отложившие обиды
До конца войны,
Этой самой РККА сыны.

* * *

Он просьбами надоедал.
Он жалобами засыпал
О том, что он недоедал,
О том, что он недосыпал.
Он обижался на жену —
Писать не раскачается.
Еще сильнее — на войну,
Что долго не кончается.
И жил меж нас, считая дни,
Сырой, словно блиндаж, толстяк.
Поди такому объясни,
Что не у тещи он в гостях.
В атаки все же он ходил,
Победу все же — добывал.
В окопах немца находил.
Прикладом фрица — добивал.
Кому какое дело,
Как выиграна война.
Хвалите его смело,
Выписывайте ордена.
Ликуйте, что он уцелел.
Сажайте за почетный стол.
И от сырых полен горел,
Пылал, не угасал костер.

* * *

Вот — госпиталь. Он — полевой, походный.
Он полон рванью, рухлядью пехотной.
Раненья в пах. В голову. В живот.
До свадьбы заживет? Не заживет.

Сожженные на собственных бутылках,
Вторично раненные на носилках
И снова раненные — в третий раз.
Раненья в рот. Попаданья в глаз.

Кричим. Кричим. Кричим!!! И ждем, покуда
Приходит фельдшер — на боку наган.
Убей! Товарищ командир! Паскуда!
Ушел, подлюга! На своих ногах.

Но мы не рвань, не дребезг, мы — бойцы
И веруем в счастливые концы.

И нас сшивают на живую нитку,
Сколачивают и слепляют,
Покуда рядом бухают зенитки,
Покуда нас ракеты ослепляют.

* * *

Мои товарищи по школе
(По средней и неполно-средней)
По собственной поперли воле
На бой решительный, последний.
Они шагали и рубили.
Они кричали и кололи.
Их всех до одного убили,
Моих товарищей по школе.

Мои друзья по институту —
Юристы с умными глазами,
Куда не на
 не лезли сдуру
С моими школьными друзьями.
Иная им досталась доля.
Как поглядишь, довольно быстро
Почти что все
 вернулись с поля
Боев.
 Мои друзья юристы.

* * *

Вы — гонщики, а мы — шоферы.
Вы ставили рекорды. Мы везли.
Мы полземли, хоть, может быть, не скоро,
Свезли в другие полземли.

Покуда на спидометре нулями
Тряслись пред вами горы и холмы,
В смоленские болота мы ныряли,
В мазурских топях
выныривали мы.

Покуда по асфальту вас носило,
К полтораста лошадиным силам
Не в спорте, а в труде или в бою
Мы добавляли силушку свою.

Выталкивали чертову полуторку
Из бесовых, промокших грейдеров.
Нам даже нравилось на этой каторге.
Ведь лихо было! Лихо. Будь здоров!

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА

Я заслужил признательность Италии,
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Плененных на Дону и на Донце,
Некормленных, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны.
Она была не для большой войны.

Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова, и вовсе не остыл.
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку — бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!

А бабу — разобрали по куску.

* * *

Невоевавшие военные
Забавны или отвратительны.
Забавны только в ранней юности,
Смешны, но только до войны.

Потом их талии осиные,
Потом их рожи здоровенные
И анекдоты откровенные
Глупы и вовсе не смешны.

Но пулями перекорезенные,
Но окорябанные шрамами,
Глухие или обезноженные —
Пускай они гордятся ранами.

ДЛИННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Ночной вагон задымленный,
Где спать не удавалось,
И год,
 войною вздыбленный,
И голос: «Эй, товарищ!
Хотите покурить?
Давайте говорить!»
(С большими орденами,
С гвардейскими усами.)
— Я сам отсюда родом,
А вы откуда сами?
Я третий год женатый.
А дети у вас есть? —
И капитан усатый
Желает рядом сесть.
— Усы-то у вас длинные,
А лет, наверно, мало. —
И вот пошли былинные
Рассказы и обманы.
Мы не корысти ради
При случае приврем.
Мы просто очень рады
Поговорить про фронт.
— А что нам врать, товарищ,
Зачем нам прибавлять?
Что мы на фронте не были,
Что раны не болят?
Болят они и ноют,
Мешают спать и жить.
И нынче беспокоят.
Давайте говорить.
Вагон совсем холодный
И век совсем железный,
Табачный воздух плотный,

А говорят — полезный.
Мы едем и беседуем —
Спать не даем соседям.
Товарищ мой негордый,
Обычный, рядовой.
Зато четыре года
Служил на передовой.
Ни разу он, бедняга,
В Москве не побывал,
Зато четыре года
На фронте воевал.
Вот так мы говорили
До самого утра,
Пока не объявили,
Что выходить пора.

* * *

Отягощенный родственными чувствами,
Я к тете шел,
 чтоб дядю повидать,
Двоюродных сестер к груди прижать,
Что музыкой и прочими искусствами,
Случалось,
 были так увлечены!

Я не нашел ни тети и ни дяди,
Не повидал двоюродных сестер,
Но помню,
 твердо помню
 до сих пор,
Как их соседи,
 в землю глядя,
Мне тихо говорили: «Сожжены...»

Все сожжено: пороки с добродетелями
И дети с престарелыми родителями.
А я стою пред тихими свидетелями
И тихо повторяю:
 «Сожжены...»

* * *

Земля, земля — вдова солдата.
Солдат — погиб. Земля живет.
Живет, как и тогда когда-то,
И слезы вод подземных льет.

Земля солдата полюбила.
Он молод был и был красив.
И спать с собою положила
Под тихим шелестеньем ив.

А то, что ивы шелестели,
Любились они пока,
Земля с солдатом не хотели
Понять. Их ночь была кратка.

Предутренней артподготовкой,
Что затянулась до утра,
Взметен солдат с его винтовкой
И разнесли его ветра.

Солдат погиб. Земля осталась.
Вдова солдатская жива.
И, утешать ее пытаюсь,
Ей что-то шелестит трава.

Еще не раз, не раз, а много,
А много, много, много раз
К тебе придут солдаты снова.
Не плачь и слез не лей из глаз.

НАШИ

Все, кто пали —
Геройской смертью,
Даже тот, кого на бегу
Пуля в спину хлестнула плетью,
Опрокинулся и ни гугу.
Даже те, кого часовой
Застрелил зимней ночью сдуру
И кого бомбежкой сдуло, —
Тоже наш, родимый и свой.
Те, кто, не переехав Урал,
Не выдав ни разу немцев,
В поездах от ангин умирал,
Тоже наши — душою и сердцем.
Да, большое хозяйство —

война!

Словно вьюга, она порошила,
И твоя ли беда и вина,
Как тебя там расположило?
До седьмого пота — в тылу,
До последней кровинки —
На фронте,
Сквозь войну,
Как звезды сквозь мглу,
Лезут наши цехи и роты,
Продирается наша судьба
В минном поле четырехлетнем
С отступленьем,
Потом с наступленьем.
Кто же ей полноправный судья?
Только мы, только мы, только мы,
Только сами, сами, сами,
А не бог с его небесами,

Отделяем свет ото тьмы.
Не историк-ученый,
А воин,
Шедший долго из боя в бой,
Что Девятого мая доволен
Был собой и своею судьбой.

МЕСЯЦ — МАЙ

Когда война скатилась, как волна,
С людей и души вышли из-под пены,
Когда почувствовали постепенно,
Что нынче мир, иные времена,

Тогда пришла любовь к войскам,
К тем армиям, что в Австрию вступили,
И кровью прилила ко всем вискам,
И комом к горлу подступила.

И письма шли в глубокий тыл,
Где знак вопроса гнулся и кружился,
Как часовой, в снегах сомненья стыл,
Знак восклицанья клялся и божился.

Покуда же послание летело
На крыльях медленных, тяжелых от войны,
Вблизи искали для души и тела.
Все были поголовно влюблены.

Надев захваченные в плен убранства
И натянув трофейные чулки,
Вдруг выделились из фронтового братства
Все девушки, прозрачны и легки.

Мгновенная, военная любовь
От смерти и до смерти без подробности
Приобрела изящества, и дробности,
Терзания, и длительность, и боль.

За неиспользованием фронт вернул
Тела и души молодым и сильным
И перспективы жизни развернул
В лесу зеленом и под небом синим.

А я когда еще увижу дом?
Когда отпустят, демобилизуют?
А ветры юности свирепо дуют,
Смиряются с большим трудом.

Мне двадцать пять, и молод я опять:
Четыре года зрелости промчались,
И я из взрослости вернулся вспять.
Я снова молод. Я опять в начале.

Я вновь недоучившийся студент
И вновь поэт с одним стихом печатным,
И китель, что на мне еще надет,
Сидит каким-то армяком печальным.

Я денег на полгода накопил
И опыт на полвека сэкономил.
Был на пиру. И мед и пиво пил.
Теперь со словом надо выйти новым.

И вот, пока распахивает ритм
Всю залежь, что на душевом наделе,
Я слышу, как товарищ говорит:
— Вернусь домой —
Женюсь через неделю.

* * *

Когда совались между зверем
И яростью звериной,
Мы поняли, во что мы верим,
Что кашу верно заварили.

А ежели она крута,
Что ж! Мы в свои садились сани,
Билеты покупали сами
И сами выбрали места.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛАССА

На харьковском Конном базаре
В порыве душевной лютости
Не скажут: «Заеду в морду!
Отколочу! Излуплю!»
А скажут, как мне сказали:
«Я тебя выведу в люди»,
Мягко скажут, негордо,
Вроде: «Я вас люблю».

Я был председателем класса
В школе, где обучали
Детей рабочего класса,
Поповичей и кулачков,
Где были щели и лазы
Из капитализма — в массы,
Где было ровно сорок
Умников и дурачков.

В комнате с грязными партами
И с потемневшими картами,
Висевшими, чтоб не порвали,
Под потолком — высоко,
Я был представителем партии,
Когда нам обоим с партией
Было не очень легко.

Единственная выборная
Должность во всей моей жизни,
Ровно четыре года
В ней прослужил отчизне.
Эти четыре года
И четыре — войны,
Годы — без всякой льготы
В жизни моей равны.

* * *

Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах
Бойкие речи торговок толковых?

Много ли знало о стилях сугубых
Веское слово скупых перекупок?

Что
 спекулянты, милиционеры
Мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,
Миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,
Что он московскому говору верен,
От Украины себя отрезал
И принадлежность к хохлам отрицал),
Русский базара — был странный язык.
Я — до сих пор от него не отвык.

Все, что там елось, пилось, одевалось,
По-украински всегда называлось.
Все, что касалось культуры, науки,
Всякие фигли, и мигли, и штуки —
Это всегда называлось по-русски
С «г» фрикативным в виде нагрузки.
Ежели что говорилось от сердца —
Хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана
Вдруг проступало реченье цыгана.

Брызгал и лил из того же источника,
Вмиг торжествуя над всем языком,
Древний, как слово Данилы Заточника,
Мат,
 именуемый здесь матерком.

Все — интервенты, и оккупанты,
И колонисты, и торгоши —
Вешали здесь свои ленты и банты
И оставляли клочья души.

Что же серчать? И досадовать — нечего!
Здесь я — учился, и вот я — каков.
Громче и резче цеха кузнечного,
Крепче и цепче всех языков
Говор базара.

* * *

Первый доход: бутылки и пробки.
За пробку платят очень мало —
За десяток дают копейку.
Бутылки стоят очень много —
Копейки по четыре за штуку.
Рынок, жарящийся под палящим
Харьковским августовским солнцем,
Выпивал озера напитков,
Выбрасывая пробки,
Иногда теряя бутылки.
Никто не мешал смиренной охоте,
Тихим радостям, безгрешным доходам:
Вечерами броди сколько хочешь
По опустевшей рыночной площади,
Собирай бутылки и пробки.
Утром сдашь в киоск сидельцу
За двугривенный или пятиалтынный
И в соседнем киоске купишь
«Рассказ о семи повешенных».
Сядешь с книгой под акацию
И забудешь обо всем на свете.
Сверстники в пригородных селах
Ягоды и грибы собирали.
Но на харьковских полянах
Росли только бутылки и пробки.

18 ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачье,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была — неприступна,
Но походка была — легка.

Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И — в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.

МОЛОДОСТЬ

Хотелось ко всему привыкнуть,
Все претерпеть, все испытать.
Хотелось города воздвигнуть,
Стихами стены исписать.

Казалось, сердце билось чаще,
Словно зажатое рукой.
И зналось: есть на свете счастье,
Не только воля и покой.

И медленным казался Пушкин
И все на свете — нипочем.
А спутник —
 он уже запущен.

Где?
 В личном космосе,
 моем.

СОРОКОВОЙ ГОД

Сороковой год.
Пороховой склад.
У Гитлера дела идут на лад.
А наши как дела?
Литва — вошла,
Эстония и Латвия — вошла
В состав страны.
Их просьбы — учтены.
У пограничного столба,
Где наш боец и тот — зольдат,
Судьбе глядит в глаза судьба.
С утра до вечера. Глядят!

День начинается с газет.
В них ни словечка — нет,
Но все равно читаем между строк,
Какая должность легкая — пророк!
И между строк любой судьбу прочтет,
А перспективы все определяют:
Сороковой год.

Пороховой склад.
Играют Вагнера со всех эстрад,
А я ему — не рад.
Из головы другое не идет:
Сороковой год —
Пороховой склад.

Мы скинулись, собрались по рублю,
Все, с кем пишу, кого люблю,
И выпили и мелем чепуху,
Но Павел вдруг торжественно встает:

— Давайте-ка напишем по стиху
На смерть друг друга. Год — как склад
Пороховой. Произведем обмен баллад
На смерть друг друга. Вдруг нас всех убьет,
Когда взорвет
Пороховой склад
Сороковой год.

КУЛЬЧИЦКИЙ

Васильки на засаленном ворота
Возбуждали общественный смех.
Но стихи он писал в этом городе
Лучше всех.

Просыпался и умывался —
Рукомойник был во дворе.
А потом целый день добивался,
Чтоб строке гореть на заре.

Некрасивые, интеллигентные,
Понимавшие все раньше нас,
Девы умные, девы бедные
Шли к нему в предвечерний час.

Он был с ними небрежно ласковый,
Он им высказаться давал,
Говорил «да-да» и затаскивал
На продавленный свой диван.

Больше часу он их не терпел.
Через час он с ними прощался
И опять, как земля, вращался,
На оси тяжело скрипел.

Так себя самого убивая,
То ли радуясь, то ли скорбя,
Обо всем на земле забывая,
Добывал он стихи из себя.

ОРФЕЙ

Не чувствую в себе силы
Для этого воскресения,
Но должен сделать попытку.

Борис Лебский.
Метр шестьдесят восемь.
Шестьдесят шесть килограммов.
Сутулый. Худой. Темноглазый.
Карие или черные—я не успел запомнить.

Борис был, наверное, первым
Вернувшимся из тюрьги:
В тридцать девятый
Из тридцать седьмого.
Это стоило возвращения с Марса
Или из прохладного античного ада.

Вернулся и рассказывал.
Правда, не сразу.
Когда присмотрелся.

Сын профессора,
Бросившего жену
С двумя сыновьями.
Младший — слесарь.

Борис — книгочей. Книгочий,
Как с гордостью именовались
Юные книгочей,
Прочитавшие Даля.

Читал всех,
Знал все.
Точнее, то небольшое,

Что книгочеи
По молодости называли
Длинным словом «Все».

Любил задавать вопросы.
В эпоху кратких ответов
Решался задавать длинейшие вопросы.

Любовь к истории,
Особенно российской,
Особенно двадцатого века,
Не сочеталась в нем с точным
Чувством современности,
Необходимым современнику
Ничуть не менее,
Чем чувство правостороннего
автомобильного движения.

Девушкам не нравился.
Женился по освобождению
На смуглой, бледной, маленькой -
Лица не помню —
Жившей
В Доме Моссельпрома
на Арбатской площади.
Того, на котором ревели лозунги Маяковского.
Ребенок (мальчик? девочка?) родился перед
войною.
Сейчас это тридцатилетний или тридцатилетняя.
Что с ним или с нею, не знаю, не узнавал.

Глаза пришельца из ада
Сияют пламенем адовым.
Лицо пришельца из ада
Покрыто загаром адовым.
Смахнув разговор о поэзии,
Очистив место в воздухе,
Он улыбнулся и начал рассказывать:

— Я был в одной камере
С главкомом Советской Венгрии,
С профессором Амфитеатровым,
С бывшим наркомом Амосовым!
Мы все обвинялись в заговоре.
По важности содеянного,
Или, точнее, умышленного,

Или, точнее, приписанного,
Нас сосредотачивали
В этой адовой камере.

Орфей возвратился из ада,
И не было интереснее
Для нас, поэтов из рая,
Рассказов того путешественника.

В конце концов, Эвридика —
Миф, символ, фантом — не более.
А он своими руками
Трогал грузную истину,
Обведенную, как у Ван Гога, толстой
черной линией.

В аду — интересно.
Это
 мне
 на всю жизнь запомнилось.

Покуда мы околачивали
Яблочки с древа познания,
Орфея спустили в ад,
Пропустили сквозь ад
И выпустили.
Я помню строки Орфея:
 «вернулся под осень,
 а лучше бы к маю».

Невидный, сутулый, маленький —
Сельвинский, всегда учитывавший
внешность своих последователей,
принял его в семинар,
но сказал: — По доверию
к вашим рекомендаторам,
а также к их красноречию.
В таком поэтическом возрасте
личность поэта значит
больше его поэзии. —
Сутулый, невидный, маленький.

В последнем из нескольких писем,
Полученных мною на фронте,

Было примерно следующее:
«Переводят из роты противотанковых
ружей в стрелковую!»

Повторное возвращение
Ни одному Орфею
Не удавалось ни разу еще.

Больше меня помнят
И лучше меня знают
Художник Борис Шахов,
Товарищ орфеевой юности,
А также брат — слесарь
И, может быть, смуглая, бледная
Маленькая женщина,
Ныне пятидесятилетняя,
Вышедшая замуж
И сменившая фамилию.

* * *

Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,
И вскользь сообщалось людям,
Что заняты ваши места
И освобождать их не будем,

А звания ваши, и чин,
И все ордена, и медали,
Конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
К обужам его и одежам,
Я слабою женской рукой
Обласкан был и обнадежен.

Я вдруг ощущал на себе
То черный, то синий, то серый,
Смотревший с надеждой и верой
Взор.
И перемену судьбе

Пророчествовали и гласили
Не опыт мой и не закон,
А взгляд,
И один только он —
То карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
Они к небесам увлекали,
И выжить они помогли —
То синий, то серый, то карий.

* * *

Интеллигенты получали столько же
И даже меньше хлеба и рублей
И вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
Очкариками звали — за очки.
Да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный,
И макинтошник — бедный и голодный,
Гриппозный, неухоженный чудак.

Тот верный друг естественных и точных
И ел не больше, чем простой станочник,
И много менее, конечно, пил.

Интеллигент! В сем слове колокольцы
Опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
Интеллигентствовать, как деды и отцы.

ТЕРПЕНЬЕ

Сталин взял бокал вина
(Может быть, стаканчик коньяка),
Поднял тост — и мысль его должна
Сохраниться на века:
За терпенье!

Это был не просто тост
(Здравиям уже пришел конец).
Выпрямившись во весь рост,
Великанам воздавал малец
За терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
А за то, что в них терпенье есть.

— Вытерпели вы меня, — сказал
Вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.

Страстотерпцы выпили за страсть,
Выпили и закусили всласть.

* * *

Нам черное солнце светило,
Нас жгло, опаляло оно,
Сжигая иные светила,
Сияя на небе — одно.

О, черного солнца сиянье,
Зиянье его в облаках!
О, долгие годы стоянья
На сомкнутых каблуках!

И вот — потемнели блондины.
И вот — почернели снега.
И билась о черные льдины
Чернейшего цвета пурга.

И черной фатою невесты
Окутывались тогда,
Когда приходили не вести,
А в черной каемке беда.

А темный, а белый, а серый
Казались оттенками тьмы,
Которую полною мерой
Мы видели, слышали мы.

Мы ее ощущали.
Мы ее осязали.
Ели вместе со щами.
Выплакивали со слезами.

* * *

Я рос при Сталине, но пристально
Не вглядывался я в него.
Он был мне маяком и пристанью.
И все. И больше ничего.
О том, что смертен он, — не думал я,
Не думал, что едва жива
Неторопливая и умная,
Жестокая та голова,
Что он давно под горку катится,
Что он не в силах — ничего,
Что черная давно он пятница
В неделе века моего.

Не думал, а потом — подумал.
Не знал, и вдруг — сообразил
И, как с пальто пушинку, сдунул
Того, кто мучил и грозил.
Печалью о его кондрашке
Своей души не замарал.
Снял, словно мятую рубашку,
Того, кто правил и карал.

И стало мне легко и ясно
И видимо — во все концы земли.
И понял я, что не напрасно
Все двадцать девять лет прошли.

ЗВУКОВОЕ КИНО

Когда кино заговорило,
Оно актерам рты открыло.
Устав от долгой немоты,
Они не закрывали рты.

То,

уши зрителей калеча,
Они произносили речи.

То,

проявляя бурный нрав,
Орали реплики из драм.
Зачем же вы на нас орете
И нарушаете покой?
Ведь мы оглохли на работе
От окриков и от пинков.

Нет голоса у черной тени,
Что мечется меж простыней.

Животных ниже

и растений

Бесплотная толпа теней.

Замрите, образы,

молчите,

Созданья наших ловких рук,
Молчанье навсегда включите,
Навеки выключите звук.

* * *

Государи должны государить,
Государство должно есть и пить
И должно, если надо, ударить,
И должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положение,
И хотя я трижды не прав,
Но как личное поражение
Принимаю списки расправ.

* * *

Списки расправ.
Кто не прав,
Тот попадает в списки расправ.
Бóенный чад
И чад типографский,
Аромат
Царский и рабский,
Колорит
Белый и черный,
Четкий ритм
И заключенный.
Я читал
Списки расправ,
Я считал,
Сколько в списке.
Это было одно из прав
У живых, у остающихся
Читать списки расправ
И видеть читающих рядом, трясущихся
От ужаса, не от страха,
Мятущихся
Вихрей праха.

* * *

Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды — не праздник, а труд!

Проводы правды оркестров не требуют:
Музыка — брезгает, живопись гребует.

В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
Бреют, стригут или укорачивают:

Молча работают, словно прядут,
Тихо шумят, словно варешки вяжут.

Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.

* * *

Вынимаются книжки забытые,
Называются вновь имена,
Гвозди,
 в руки распятых
 забитые,
Тянут, тащат с утра до темна.

Знаменитые и безымянные,
В шахтах сгинувшие и в рудниках,
Вы какие-то новые, странные,
Вы на вас не похожи никак.

Чтоб судьбу, бестолковую пряху,
Вновь на подлость палач не подбил,
Мир, предложенный вашему праху,
Отвергаете вы из могил.

Отвергаете сладость забвенья
И терпенья поганый верняк.
Қандалов ваших синие звенья
О возмездии только звенят.

МОШКА́

Из метро, как из мешка,
Словно вулканическая масса,
Сыплются четыре первых класса.
Им кричат: «Мошка!»
Взрослым кажется совсем не стыдно
Ухмыляться гордо и обидно,
И не обходиться без смешка,
И кричать: «Мошка!»

Но сто двадцать мальчиков, рожденных
В славном пятьдесят четвертом,
Правдолюбцев убежденных,
С колыбели увлеченных спортом,
Улицу заполонили
Тем не менее.
Вас, наверно, мамы уронили
При рождении,
Плохо вас, наверно, пеленали.

Нас вообще не пеленали,
Мы росли просторно и легко.
Лужники, луна ли —
Все равно для нас недалеко.
Вот она, моя надежда.
Вот ее слова. Ее дела.
Форменная глупая одежда
Ей давным-давно мала.

Руки красные из рукавов торчат,
Ноги — в заменители обуви.
Но глаза, прожекторы как будто,
У ребят сияют и девчат.

Вы пока шумите и пищете
В радостном предчувствии судьбы,
Но, тираны мира,
 трепещите,
Поднимайтесь,
 падшие рабы.

НОВАЯ КВАРТИРА

Я в двадцать пятый раз после войны
На новую квартиру перебрался,
Отсюда лязги буферов слышны,
Гудков пристанционных перебранка.

Я жил у зоопарка и слышал
Орлиный клекот, лебедей плесканье.

Я в центре жил. Неоном полыхал
Центр надо мной.
Я слышал полосканье
В огромном горле неба. Это был
Аэродром, аэрогром и грохот.

И каждый шорох, ропот или рокот
Я записал, запомнил, не забыл.

Не выезжая, а переезжая,
Перебираясь на своих двоих,
Я постепенно кое-что постиг,
Коллег по временам опережая.

А сто или сто двадцать человек,
Квартировавших рядышком со мною,
Представили двадцатый век
Какой-то очень важной стороною.

* * *

То лето, когда убивали водителей многих такси,
Когда уголовники
Веселые, пьяные, злые расхаживали по Руси,
Решительные, как подполковники.

До этого лета случилась весна.
Как щепка на щепку, лезла новость на новость,
И, словно медведи после зимнего сна,
Вползали вечные ценности: правда, свобода, совесть.

До этого выпало несколько зимних годов
И вечные ценности спали в далеких берлогах,
И даже свободный мыслитель был не готов
Помыслить о будущих мартовских некрологах.

До этого было четыре года войны,
И кто уцелел, кто с фронта вернулся,
Войне в три погибели поклониться должны —
Все те, кто после войны — уцелел, не согнулся.

А все довоенное является ныне до-
Историческим, плюсквамперфектным, забытым
И, словно Филонов в Русском музее, забытым
В какие-то ящики...

СОВРЕМЕННОК

Советские люди по сути —
Всегда на подъем легки.
Куда вы их ни суйте —
Берут свои рюкзаки,
Хватают свои чемоданы
Без жалоб и без досад
И — с Эмбы до Магадана,
И — если надо — назад.

Каких бы чинов ни достигнул
И званий ни приобрел,
Но главное он постигнул:
Летит налегке орел
И — правило толковое —
Смерть, мол, красна на миру.
С зернистой на кабачковую
Легко переходим
икру.

Из карточной системы
Мы в солнечную перебрались,
Но с достижениями теми
Нисколько не зарвались,
И если придется наново,
Охотно возьмем за труды
От черного и пеклеванного
Колодезной до воды.

До старости лет ребята,
Со всеми в мире — на ты.
Мой современник, тебя-то
Не низведу с высоты.
Я сам за собою знаю,
Что я, как и все, заводной
И моложавость чудная
Не расстается со мной.

* * *

На краю у ночи, на опушке —
За окном трамвай уже поет, —
Укрывая ушки и макушки,
Крепко дремлет трудовой народ:

Запасает силу и тепло,
Бодрость копит и веселость копит.
И вставать не так уж тяжело
В час, когда будильник заторопит.

С каждым годом люди — веселей
И глаза добрее перед вами.
Сдачу даже с десяти рублей
Ласково передают в трамвае.

И взаимно вежлив с продавцом
Прежде грубоватый покупатель:
Вот товар — с изнанкой и лицом,
А хотите — сами покопайтесь.

Все-таки дела идут на лад,
Движутся! Хоть медленней, чем хочется.
Десять лет несчастья мне сулят.
Десять лет плюю на те пророчества.

* * *

Суббота. Девки все разобраны.
В наряды лучшие разубраны.
У них сознание разорвано.
На них всезнания зазубрины.

Все зная и все понимая,
С работы, с Пушкинской, с Арбата
Москва — кричащая, немая —
Идет — девчата и ребята.

Все, что ни выскажут ей, — выслушает.
Все, что прочтут, — она усвоит.
И семечко немедля вылуцит.
И тут же шелуху развеет.

* * *

Песню крупными буквами пишут,
И на стенку вешают текст,
И поют, и злобою пышут,
Выражают боль и протест.

Надо все-таки знать на память,
Если вправду чувствуешь боль,
Надо знать, что хочешь ославить,
С чем идешь на решительный бой.

А когда по слогам разбирает,
Запинаясь, про гнев поет,
Гнев меня самого разбирает,
Смех мне подпевать не дает.

ПРОБА

Еще играли старый гимн
Напротив места лобного,
Но шла работа над другим
Заместо гимна ложного.
И я поехал на вокзал,
Чтоб около полуночи
Послушать, как транзитный зал,
Как старики и юноши —
Всех наций, возрастов, полов,
Рабочие и служащие,
Недавно не подняв голов
Один доклад прослушавшие, —
Воспримут устаревший гимн;
Ведь им уже объявлено,
Что он заменится другим,
Где многое исправлено.
Табачный дым над залом плыл,
Клубился дым махорочный.
Матрос у стойки водку пил,
Занюхивая корочкой.
И баба сразу два соска
Двум близнецам тянула.
Не убирая рук с мешка,
Старик дремал понуро.
И семечки на сапоги
Лениво парни лускали.
И был исполнен старый гимн,
А пассажиры слушали.
Да только что в глазах прочтешь?
Глаза-то были сонными,
И разговор все был про то ж,
Беседы шли сезонные:
Про то, что март хороший был
И что апрель студеный,

Табачный дым над залом плыл —
Обыденный, буденный.
Матрос еще стаканчик взял —
Ничуть не поперхнулся.
А тот старик, что хмуро спал, —
От гимна не проснулся.
А баба, спрятав два соска
И не сходя со стула,
Двоих младенцев в два платка
Толково завернула.
А мат, который прозвучал,
Неясно что обозначал.

ВАСЯ С БУЛЕЙ

Первый образ сошедших с круга:
Камчадалы, два глупых друга,
Вася Лихарев с Галкиным Булей.

Класс
 то забормочет, как улей,
То от ужаса онемеет.
Класс контрольной только и дышит.

Вася с Булей контрольных не пишут.
Вася с Булей надежд не имеют.

Вася с Булей на задней парте,
Вне компаний, группок, партий,
Обсуждают с наглой улыбкой
Тщетность наших поползновений.

Сами, сами на почве зыбкой:
Вася — дуб, и Буля не гений.
Оба, оба школы не кончат.
Буля — потому что не хочет.
Вася — потому что не может.

Эта мысль не томит, не гложет,
Не страшит, не волнует, не мучит —
Целый год уроков не учат!

До секунды время исчисля,
Вася ждет звонка терпеливо.
Бродят дивные пошлые мысли
Вдоль по Булиной роже счастливой.

Чем он думает? Даже странно.
И о чем? Где его установки?

Путешествует, видимо, в страны,
Где обедают без остановки.

Мы потом в институтах учились,
На симпозиумах встречались,
В санаториях южных лечились
И на аэролиниях мчались.
После вечера выпускного
Через год, через два, через сорок
Мы встречались снова и снова,
Вспоминая о дружбах и ссорах.

Где же Вася?
Никто не слышал.
Словно в заднюю дверь он вышел.
Что же Буля?
Где колобродит?
Даже слухи давно не ходят,
Словно за угол завернули
Буля с Васей,
Вася с Булей.
На экзаменах провалились
И как будто бы провалились.

* * *

Сорок сороков сорокалетних
Однокурсниц и соучениц,
По уши погрязших в сплетнях,
Пред успехом падающих ниц,
Все же сердобольных, все же честных,
Все же (хоть по вечерам) прелестных,
Обсудили и обговорили
И распределили все места
И такую кашу заварили!
Ложка в ней стоймя стоит — крута!

Эти сорок сороков я знал
Двадцать лет назад — по институту,
И по гулкости консерваторских зал,
По добру, а также и по худу.
Помню толстоватых и худых,
Помню миловидных, безобразных,
Помню работающих, помню праздных,
Помню очень молодых.

Я вырослел и созревал
Рядом с ними, сорока сороками,
Отмечал их дни рождения строками,
А на днях печали — горевал.
Стрекочите и трезвоньте,
Сорок сороков, сорок сорок,
Пусть на вашем горизонте
Будет меньше тучек и тревог.

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС

Человек, как лист бумаги,
Изнашивается на сгибе.
Человек, как клеенная чашка,
Разбивается на изломе.
А моральный износ человека
Означает, что человека
Слишком долго сгибали, ломали,
Колебали, шатали, мяли,
Били, мучили, колотили,
Попадая то в страх, то в совесть,
И мораль его прохудилась,
Как его же пиджак и брюки.

УЛУЧШЕНИЕ АНКЕТ

В анкетах лгали,
Подчищали в метриках,
Равно боялись дыма и огня
И не упоминали об Америках,
Куда давно уехала родня.

Храня от неприятностей семью,
Простую биографию свою
Насильно к идеалу приближали
И мелкой дрожью вежливо дрожали.

А биография была проста.
Во всей своей наглядности позорной.
Она — от головы и до хвоста —
Просматривалась без трубы подзорной.

Сознание отражало бытие,
Но также искажало и коверкало, —
Как рябь ручья, а вовсе не как зеркало,
Что честно дело делает свое.

Но кто был более виновен в том:
Ручей иль тот, кто в рябь его взирает
И сам себя корит и презирает?
Об этом я вам расскажу потом.

* * *

«Доносов не принимают!
Вчера был последний день!»

Но гадов не понимает
Торжественный бюллетень.

Им уходить неохота,
Они толпятся у входа.
Серее серых мышат,
Они бумагой шуршат.

Проходят долгие годы,
Десятилетия идут,
Но измененья погоды
Гады по году ждут.

* * *

Когда эпохи идут на слом,
Появляются дневники,
Писанные задним числом,
В одном экземпляре, от руки.

Тому, который их прочтет
(То ли следователь, то ли потомок),
Представляет квалифицированный отчет
Интеллигентный подонок.

Поступки корректируются слегка.
Мысли — очень серьезно.
«Рано!» — бестрепетно пишет рука,
Где следовало бы: «Поздно».

Но мы просвечиваем портрет
Рентгеновскими лучами,
Смываем добавленную треть
Томления и отчаяния.

И остается пища: хлеб
Насущный, хотя не единый,
И несколько недуховных потреб,
Пачкающих седины.

* * *

Надо, чтобы дети или звери,
Чтоб солдаты или, скажем, бабы
К вам питали полное доверье
Или полюбили вас хотя бы.

Обмануть детей не очень просто,
Баба тоже не пойдет за подлым,
Лошадь сбросит на скаку прохвоста,
А солдат поймет, где ложь, где подвиг.

Ну, а вас, разумных и ученых, —
О, высокоумные мужчины, —
Вас водили за нос, как девчонок,
Как детей, вас за руку влачили.

Нечего ходить с улыбкой гордой
Многократно купленным за орден.
Что там толковать про смысл, про разум,
Многократно проданный за фразу.

Я бывал в различных обстоятельствах,
Но видна бессмертная душа
Лишь в освобожденной от предательства,
В слабенькой улыбке малыша.

СОН

Как дерево стареет и устает металл,
Всемирный обыватель от истории устал.
Он одурел от страха и притерпелся к совести,
Ему приелись лозунги и надоели новости.
Заснул отец семейства и видит сладкий сон
О том, что репродуктор неожиданно включен.
Храпит простак, но видит его душевный глаз:
Последние известия звучат в последний раз.
Храпит простак, но слышит его душевный слух,
Что это все взаправду, что это все не слух:
Событий не предвидится ближайших двести лет
И деньги возвращаются подписчикам газет.
Посередине ночи, задолго до утра
Вскочил простак поспешно с двуспального одра,
Он теребит супругу за толстое плечо,
И, злая с недосыпу, она кричит: «Для чо?
Какой там репродуктор? Он даже не включен».
И оптимист злосчастный проклял свой лживый сон.

* * *

У людей — дети. У нас — только кактусы
Стоят, безмолвны и холодны.
Интеллигенция, куда она катится?
Ученые люди,
 где ваши сыны?

Я жил в среде, в которой племянниц
Намного меньше, чем тетя и дядей.
И ни один художник-фламандец
Ей не примажет больших грудей.

За что? За то, что детские сопли
Однажды побрезговала стереть,
Сосцы у нее навсегда пересохли,
Глаза и щеки пошли стареть.

Чем больше книг, тем меньше деток,
Чем больше идей, тем меньше детей.
Чем больше жен, со вкусом одетых,
Тем в светлых квартирах пустей и пустей.

* * *

Генерала легко понять,
Если к Сталину он привязан, —
Многим Сталину он обязан,
Потому что тюрьму и суму
Выносили совсем другие.
И по Сталину ностальгия,
Как погоны, к лицу ему.

Довоенный, скажем, майор
В сорок первом или покойник,
Или, если выжил, полковник.
Он по лестнице славы пер.
До сих пор он по ней шагает,
В мемуарах своих — излагает,
Как шагает по ней до сих пор.

Но зато на своем горбу
Все четыре военных года
Он тащил в любую погоду
И страны и народа судьбу
С двуединым известным кличем.
А из Родины — Сталина вычтя,
Можно вылететь. Даже в трубу!

Кто остался тогда? Никого.
Всех начальников пересажали.
Немцы шли, давили и жали
На него, на него одного.
Он один, он один. С начала
До конца. И его осеняло
Знаменем вождя самого.

Даже и в пятьдесят шестом,
Даже после Двадцатого съезда

Он портрета не снял, и в том
Ни его, ни его подъезда
Обвинить не могу жильцов,
Потому что в конце концов
Сталин был его честь и место.

Впереди только враг. Позади
Только Сталин. Только Ставка.
До сих пор закипает в груди,
Если вспомнит. И ни отставка,
Ни болезни, ни старость, ни пенсия
Не мешают; грозною песнею,
Сорок первый, звучи, гуди.

Ни Егоров, ни Тухачевский —
Впрочем, им обоим поклон, —
Только он, бесстрашный и честный,
Только он, только он, только он.
Для него же свободой, благом,
Славой, честью, гербом и флагом
Сталин был. Это уж как закон.

Это точно. «И правду эту, —
Шепчет он, — никому не отдам».
Не желает отдать поэту.
Не желает отдать вождям.
Пламенем безмолвным пылает,
Но отдать никому не желает.
И за это ему — воздам!

* * *

Товарищ Сталин письменный —
Газетный или книжный —
Был благодетель истинный,
Отец народа нежный.

Товарищ Сталин устный —
Звонком и телеграммой —
Был душегубец грустный,
Угрюмый и упрямый.

Любое дело делается
Не так, как сказку сказывали.
А сказки мне не требуются,
Какие б ни навязывали.

О ПРЯМОМ ВЗГЛЯДЕ

Честный человек
Должен прямо смотреть в глаза.
Почему — неизвестно.
Может быть, у честного человека
Заболели глаза и слезятся?
Может быть, нечестный
Обладает прекрасным зрением?
Почему-то в карательных службах
Стольких эпох и народов
Приучают правдивость и честность
Проверять по твердости взгляда.
Неужели охранка,
Скажем, Суллы имела право
Разбирать нечестных и честных?
Неужели контрразведка,
Например, Тамерлана
Состояла из моралистов?
Каждый зрячий имеет право
Суежливо бегать глазами
И оцениваться не по взгляду,
Не по обонянию и слуху,
А по слову и делу.

* * *

Виноватые без вины
Виноваты за это особо,
Потому-то они должны
Виноватыми быть до гроба.

Ну субъект, ну персона, особа!
Виноват ведь! А без вины!
Вот за кем приглядывать в оба,
Глаз с кого спускать не должны!
Потому что бушует злоба
В виноватом без вины.

* * *

Художнику хочется, чтобы картина
Висела не на его стене,
Но какой-то серьезный скотина
Торжественно блеет: «Не-е-е...»

Скульптору хочется прислонить
К городу свою скульптуру,
Но для этого надо сперва отменить
Одну ученую дуру.

И вот возникает огромный подвал,
Грандиозный чердак,
Где до сих пор искусств навал
И ярлыки: «Не так».

И вот возникает запасник, похожий
На запасные полки,
На Гороховец, что с дрожью по коже
Вспоминают фронтовики.

На Гороховец Горьковской области
(Такое место в области есть),
Откуда рвутся на фронт не из доблести,
А просто, чтоб каши вдоволь поесть,

* * *

Кайсыну Кулиеву

Поэты малого народа,
Который как-то погрузили
В теплушки, в ящики простые,
И увозили из России,
С Кавказа, из его природы
В степя, в леса, в полупустыни —
Вернулись в горные аулы,
В просторы снежно-ледяные,
Неся с собой свои баулы,
Свои коробья лубяные.

Выпровождали их с Кавказа
С конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу —
Сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа —
И так бывает на Руси —
Дождались все же оборота
Истории вокруг оси.

В ста эшелонах уместили,
А все-таки — народ! И это
Доказано блистаньем стиля,
Духовной силою поэта.
А все-таки народ! И нету,
Когда его с земли стирают,
Людского рода и планеты:
Полбытия
они теряют.

* * *

Шуба выстроена над калмыком.
Щеки греет бобровый ворс.
А какое он горе мыкал!
Сколько в драных ватниках мерз!

Впрочем, северные бураны
Как ни жгли — не сожгли дотла.
Слава не приходила рано.
Поздно все же слава пришла.

Как сладка та поздняя слава,
Что не слишком поздно дана.
Поглядит налево, направо:
Всюду слава, всюду она.

Переизданный, награжденный
Много раз и еще потом,
Многokrатно переведенный,
Он не щурится сытым котом.

Нет, он смотрит прямо и точно
И приходит раньше, чем ждут:
Твердый профиль, слишком восточный,
Слишком северным ветром продут.

* * *

Бывший кондрашка, ныне инсульт,
Бывший разрыв, ныне инфаркт,
Что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это — факт.

Гады по году лежат на спине.
Что они думают? — Плохо мне.
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
Гады понимают за что.

Вот поднимается бывший гад,
Ныне — эпохи своей продукт,
Славен, почти здоров, богат,
Только ветром смерти продут.

Бывший безбожник, сегодня он
Верует в бога, в чох и в сон.

Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
Чтобы потомки ценили нас
По сумме — злых и добрых дел.

Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
Не лишайте, пожалуйста, прав
Исправиться до конца.

* * *

Подумайте, что звали высшей мерой
Лет двадцать или двадцать пять подряд.
Добро? Любовь?
Нет. Свет рассвета серый
И звук расстрела.
Мы будем мерить выше этой высшей,
А мера будет лучше и верней.
А для зари, над городом нависшей,
Употребленье лучшее найдем.

* * *

Быка не надо брать за бока.
Быка берут за рога —
Темные, вроде табака,
Крутые, как берега.

Бык мотнет большой башкой,
Потом отбежит вбок.
А ты хватай левой рукой
За правый рог.

Бык замычит — он такой!
И в глазах у него — тоска.
А ты хватай правой рукой
За левый рог быка.

Покуда не доконал быка,
Покамест он жив, пока
Не рухнет с грохотом перед тобой —
Ты продолжаешь бой.

КАК ТОЛЬКО ВЗЯТЬСЯ

Все может быть,
Что не может быть,
Все может статься,
Как только взяться,
И самое главное
Не позабыть,
И в самом важном
Не струсить, не сдаться.

А если правила
Соблюсти,
А если вовремя
Их нарушить,
Все можно
До конца довести
И гору
На гору
Можно обрушить.

Возможность
И невозможность
Давно
Настолько привыкли
Местами меняться,
Что им уже, в сущности,
Все равно
И все может статься,
Как только взяться.

* * *

Свобода совести непредставима
Без совести. Сначала совесть,
Потом свобода.
Но два тысячелетия усилий
Последовательность эту размочили.
Пора попробовать наоборот: сначала —
Свободу.

ВРЕМЯ ВСЕ УЛАДИТ

Ссылки получают имя ссыльных.
Книги издаются без поправок.
В общем, я не верю в право сильных.
Верю в силу правых.

Восстанавливается справедливость,
Как промышленность, то есть не скоро.
Все-таки, хотя и не без спора,
Восстанавливается — справедливость.

Восстанавливается! Если остановится
Восстанавливаться, это ненадолго.
Постепенно все опять становится
На стезю прогресса, чести, долга.

Все долги двадцатого столетья
Двадцать первое заплатит.
Многолетье скрутит лихолетье.
Время — все уладит.

Надо с ним, как Пушкин с ямщиками, —
Добрым словом, а не кулаками,
И оно поймет, уразумеет
Тех, кто объясниться с ним сумеет.

* * *

Пропускайте детей до шестнадцати лет,
До тринадцати, до десяти!
Пусть дитя беспрепятственно купит билет,
Спросит вежливо, как пройти —
И крутите, крутите для малых детей
Без купюр и затей
То, что вы посмотрели давно:
Детям нужно ходить в кино.

Да, экран, а не буква, отнюдь не число!
Кинотеатров широкая сеть
Изучить человеческое ремесло,
Своевременно повзрослеть
Очень может помочь.
И поэтому вы
Пропускайте детей в кинотеатры Москвы.

* * *

Учитесь, дети, книги собирать
Не для богатства, а для благородства.
Обидеть книгу — подлость и уродство,
Как будто пайку хлеба отобрать.

Кто голодал, но книги покупал,
Недосыпал, но их читал ночами,
Себя таким окопом окопал!

Кого бы там над ним ни назначали,
Кто б ни грозил ему, кто б ни разил
Его,
 никто б его не поразил.

Все потому, что, словом пораженный,
Для дела закален и заострен.
Не спорьте, дети, я со всех сторон
Вопрос обдумал. Он теперь решенный.

Не загрязняйте, дети, ваших книг
(В особенности же библиотечных).
Среди случайных, жалких, скоротечных
Немало важных сыщется среди них.

ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ

Главная надежда — на читальни
И еще — на дешевизну книг.
Есть в романах русских назиданье.
Есть примеры, чтобы взять их с них.

По ученью ихнему поучатся
И герои и среди толпы.
Видимо, хорошее получится,
Если с этой не сходить тропы.

Главная надежда, чтоб невежда
Научился, в корень поглядел,
Чтоб отверзлись заспанные вежды
Не для опохмелки, а для дел.

Не в узилище, в училище
Образовывается наша силища,
И пока студенческий кружок
Не решил: «Как быть роду людскому?»,
Этот род неясностями скован,
Не продвинется ни на вершок.

* * *

Я когда был возраста вашего,
Стариков от души уважал,
Я про Ленина их спрашивал,
Я поступкам их — подражал.

Вы меня сначала дослушайте,
Перебьете меня — потом!
Чем живете? Чему вы служите?
Где усвоили взятый тон?

Ваши головы гордо поставлены,
Уважаете собственный пыл.
Расспросите меня про Сталина —
Я его современником был.

РУССКИЙ СПОР

Русский спор
Про русский спорт
И международный спорт,
Про хоккей и про футбол,
Кто и как вбивает гол,
Бывший гол, а ныне — мяч,
Не кончается, хоть плачь!

Спорит дом и спорит двор,
Спорщиков повсюду хор.
Длится, длится русский спор,
Спор про спорт.
Этот спор забыть помог
Русский спор: «А есть ли бог?
Есть ли черт?»

А Белинский есть не мог,
Не садился за обед,
Потому что, есть ли бог
Или нет,
Он решал, решал, решал
С давних пор,
А обед ему мешал
Кончить спор.

ФИЗИКИ И ЛЮДИ

Физиков — меньшинство человечества.
Химиков — больше, но не намного.
Все остальное — мятется, мечется,
Ищет правильную дорогу.

Физики знают то, что знают,
Химики знают чуть поболее.
Все остальные — воют, стенают,
Плачут от нестерпимой боли.

Как же им быть? Куда деваться?
Куда подаваться? Кому сдаваться?
Будущее — плюсы, минусы,
Цифры, косинусы, синусы.
Куда же, так сказать, кинуться?
В какую сторону двинуться?

А физики презрительно озирают неудачи,
Свысока глядят на людской неуют,
Но выполняют любые задачи,
Какие им ни дают.

* * *

На том стоим!
А вот на чем стоим?
Какие тайны мы в себе таим?

Когда гляжу я на поток труда,
Мне хочется спросить его: «Куда?»,
«Зачем?» — интересуюсь, — «Для чего?»
Но мне не отвечают ничего.
Давным-давно и раньше, чем давно,
Все это, как часы, заведено,
И, видимо, для собственной красы
Торопятся без отдыха часы.

* * *

Есть ли люди на других планетах?
Для докладов во парткабинетах
Кто найти бы тему лучше смог?
Разве лектор с темой «Есть ли бог?».

Эта тема главная, сквозная:
Как живется людям на Луне, —
И докладываем, мало зная,
Как им, людям, в нашей стороне.

Как им можется, живется рядом,
На работе и в кругу семьи?
Смотрим на Луну туманным взглядом,
Сочиняя тезисы свои.

ТАКАЯ ЭПОХА

В наше время, в такую эпоху!
А — в какую? Не то чтобы плохо
И — не шибко живет человек.

Сколько было — земли и неба
Под ногами, над головой.
Сколько было — черного хлеба
И мечты, как всегда, голубой.

Не такая она такая,
А такая она, как была.
И, груженую тачку толкая,
Мы не скоро дойдем до угла.

Надо ждать двадцать первого века
Или даже дальнейших веков,
Чтоб счастливому человеку
Посмотреть в глаза без очков.

ПЕРВЫЙ ВЕК

Первый век нашей эры. Недооценка
Из поэтов — Овидия. Из пророков — Христа.
Но какая при том глубина, высота.

Он мне кажется синим от неба и солнца,
Первый век. Век прокладки широких дорог.
(Кое-что мир до нашего века сберег.)

Все другие — второй, и четвертый, и пятый —
Затерялись в библиотечной пыли.
Первый век, словно статую, в прахе нашли.

Не развалины — выше берите — руины!
Все другие — навалом засыплю в суму.
А без первого века — нельзя никому.

Первый век. Все сначала. Первый век.
Все впервые,
О, какие воспоминанья живые
О тебе, первый век.

* * *

Двадцатые годы, когда все были
Двадцатилетними, молодыми,
Скрылись в хронологическом дыме.

В тридцатые годы все повзрослели —
Те, которые уцелели.

Потом настали сороковые.
Всех уцелевших на фронт послали,
Белы снега над ними постлали.

Кое-кто остался все же,
Кое-кто пережил лихолетье.

В пятидесятых годах столетья,
Самых лучших, мы отдохнули.
Спины отчасти разогнули,
Головы подняли отчасти.

Не знали, что это и есть счастье,
Были нервны и недовольны,
По временам вспоминали войны
И то, что было перед войною.

Мы сравнивали это с новизною,
Ища в старине доходы и льготы.
Не зная, что в будущем, как в засаде,
Нас ждут в нетерпении и досаде
Грозные шестидесятые годы.

* * *

Ставлю на через одно поколение.
Не завтра, а послезавтра.
Славлю дальних звезд заселение
Слогом ихтиозавра.

Будущие годы — значит, следующие.
Многого я от них не жду.
Жду грядущие годы — едущие
В большой ракете
на большую звезду.

Ставлю на Африку, минуя Азию,
Минуя физику — на биологию.
Минуя фантастику, минуя фантазию,
На чудеса — великие, многие.

Ставлю на коммунизм, минуя
Социализм, и на человечество
Без эллина, иудея, раба, буржуя,
Минуя нынешнее отечество.

Из привычных критериев вырвавшись,
Обыденные мерки отбросивши,
Ставлю на завтрашний выигрыш
С учетом завтрашнего проигрыша.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИИ

Перешитое, перелицованное,
Уцененное, удешевленное,
Второсортное, бракованное,
Пережаренное, недопеченное —

Я с большим трудом добывал его,
Надевал его, обувал его,
Ел за завтраком, за обедом,
До победы, после победы.

Я родился ладным и стройным,
С голубым огнем из-под век,
Но железной десницей тронул
Мои плечи двадцатый век.

Он обул меня в парусиновое,
В ватно-стеганое одел.
Лампой слабою, керосиновой
Осветил, озарил мой удел.

На его бесчисленных курсах,
Заменяющих университет,
Приучился я к терпкому вкусу
Правды, вычитанной из газет.

Мне близки, понятны до точки
Популярная красота,
Увертюра из радиоточки
И в театре входные места.

Если я из ватника вылез
И костюм завел выходной —
Значит, общий уровень вырос
Приблизительно вместе со мной.

Не желаю в беде или в счастье,
Не хочу ни в еде, ни в труде
Забирать сверх положенной части
Никогда.

Никак.

Нигде.

И когда по уму и по стати
Не смогу обогнать весь народ,
Не хочу обгонять по зарплате,
Вылезать по доходам вперед.

Словно старый консерв из запаса,
Запасенный для фронтовиков,
Я от всех передряг упасся —
Только чуть заржавел с боков.

Вот иду я — сорокалетний,
Средний, может быть, — нижесредний
По своей, так сказать, красе.
— Кто тут крайний?
— Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.

УГЛЫ

Хочется перечислить несколько
Наиболее острых и неудобных
Углов, куда меня загоняли.

Мать говорила: марш в угол!
Я шел, становился и думал.
Угол был не самый худший.
Можно было стоять и думать.

После войны я снимал углы,
В самые худшие годы.
Когда становилось чуть получше,
Я снимал четырехугольные
Комнаты. Однажды — треугольную.
Когда же денег было мало,
Старухи с правилами и моралью
И тоже — почти без всяких денег —
Сдавали углы своих комнат
С правом, сидя на углышке стула,
Писать и читать на углу стола.
Я занимал угол квадрата.
В трех углах существовала
Старуха — в высшем смысле слова.
Она задавала мне вопросы
С правом получать ответы.
Она двигалась, она бытовала,
Как неотвязчивая прибаутка.
Единственный способ отвязаться
Было: залечь в своем углу
На свою койку,
Лицом к стенке.
В таком положении можно думать.

Угол зрения. В этот угол
Меня загоняли неоднократно.
Вдруг в углу большой газеты,
Обычно — в правом верхнем,
Мне приписывали угол зрения,
Не совпадающий с прямым и верным.
Изо всех верных углов зрения
На меня смотрела старуха,
Старуха в высшем смысле слова.
Она задавала мне вопросы
С правом получать ответы.
Всю жизнь горжусь, что это право
Старуха осуществляла редко.
Она спрашивала, спрашивала, спрашивала.
Она кричала.
Я же — слушая, но не слыша,
Думал свое дело.

ПОЩЕЧИНА

Резкий удар в лицо кулаком
Вызывает резкий ответ,
А пощечина — в горло вгоняет ком,
Угашает внутренний свет.

О, пощечины оскорбительный треск,
Похожий на треск льда на реке!
О, всегда подозрительный интерес
К битому по щеке!

Прямой удар кулаком по лицу
Вызывает ответный удар.
Бросаемся к подлещу, к наглещу,
Разжигая внутренний жар.

Творишь дела. Говоришь слова.
Движешься прямо вперед.
А пощечина — она, как вдова,
Ответов она не ждет.

Я еще потому себя считал
Коммунистом
и буду считать,
Что я людям головы поднимал,
Обучал их отвечать.

Добром — на добро, а злом — на зло.
Не молчать. Не терпеть.

А в общем — в жизни мне повезло,
Буду пока скрипеть.

ОДА СЛУЧАЮ

В шатрах такого стана
Порядка не бывает.
Благодарить не стану,
Что вот — не убивают.
Благодарить не хочется.
И — некого. И скушно.
Судьба сама, как летчица,
Рулит,
 куда ей нужно.
Нет, случай, только случай,
Дурацкий, непонятный,
Случайный, как троллейбус
Середь ночи, обратный,
Глупей, чем лотерейный
Приблудный миллион.
Притом — на билет трамвайный.
Случай, только он.
Он мне на долю выпал.
Случился случай споро.
И я не пал. Не выпал
Кристаллом из раствора.
Я мог бы стать нечетным
И вот остался четным.
Я мог бы стать нечестным
И вот остался честным,
Ни лагерною пылью,
Ни позабытой былью,
Таинственной, как тать,
Не стал.
А мог бы стать.
Писатель Короленко,
Спасатель всех отверженных!

**Вы слышите! Рулетка,
Где смиренно-отвешено,
Где случай, самый лучший,
Хороший, как закон, —
Да здравствует рулетка
И случай! Только он.**

ЖИЗНЬ

Я работал и воевал.
В днях труда и в ночах без сна
Не заметил, как прозевал
Жизнь,
Как мимо прошла она.

Смех красавиц и звон монет,
Солнце, счастье, питье, еда —
Может, были, а может, нет,
Может, не были никогда.

Ну, а что мне солнце и тень?
На себя их, что ли, одень!
Вот питье и еда — это да.
Это нужно три раза в день.

Нет, не мимо, а сквозь меня
Прорвалась моя жизнь, прошла.
Словно рота в зоне огня
Режет проволоку в три кола.

Пусть еще три кола впереди,
До которых никто не дойдет.
Надо, значит, надо: — Иди!
Надо, значит, надо: — Вперед!

КАК Я СНОВА НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ

Как ручные часы — всегда с тобой,
Тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль,
Боль, боль — не могу.

Слабая боль головная,
Тихая, затухающая,
Словно тропа лесная,
Прелью благоухающая.
Скромная боль, невидная,
Словно дождевка летняя,
Словно девица на выданьи,
Тридцати — с чем-нибудь — летняя.

Я с ней просыпался,
С ней засыпал,
Видел ее во сне,
Ее сыпучий песок засыпал
Пути-дорожки

мне.

И вот головной тик — стих,
Тряхнуть стариной.
И вдруг головной тик — стих,
Что-то случилось со мной.

Помню, как ранило: по плечу
Хлопнуло.

Наземь лечу.

А это — как рана наоборот,
Как будто зажило вдруг:
Падаешь вверх,
Отступаешь вперед
В сладостный испуг.

Спасибо же вам, стихи мои,
 За то, что, когда пришла беда,
 Вы были мне вместо семьи,
 Вместо любви, вместо труда.
 Спасибо, что прощали меня,
 Как бы плохо вас ни писал,
 В тот год, когда, выйдя из огня,
 Я от последствий себя спасал.
 Спасибо вам, мои врачи,
 За то, что я не замолк, не стих.
 Теперь я здоров! Теперь — ворчи,
 Если в чем совру,
мой стих.

* * *

Начинается длинная, как мировая война,
Начинается гордая, как лебединая стая,
Начинается темная, словно кхмерские письмена,
Как письмо от родителей, ясная и простая
Деятельность.

В школе это не учат,
В книгах об этом не пишут,
Этим только мучат,
Этим только дышат:
Стихами.

Гул, возникший в двенадцать и даже в одиннадцать лет,
Не стихает, не смолкает, не умолкает.
Ты — актер. На тебя взят бессрочный билет.
Публика целую жизнь не отпускает
Со сцены.

Ты — строитель. Ты выстроишь — люди живут
И клянут, обнаружив твои недоделки.
Ты — шарманщик. Из окон тебя позовут,
И крути и крутись, словно рыжая белка
В колесе.

Из профессии этой, как с должности председателя КГБ
Много десятилетий не уходили живыми.
Ты — труба. И судьба исполняет свое на тебе.
На важнейших событиях ты ставишь фамилию, имя,
А потом тебя забывают.

* * *

Я был умнее своих товарищей
И знал, что по проволоке иду,
И знал, что если думать — то свалишься.
Оступишься, упадешь в беду.

Недели, месяцы и года я
Шел, не думая, не гадая,
Как акробат по канату идет,
Планируя жизнь на сутки вперед.

На сутки. А дальше была безвестность.
Но я никогда не думал о ней.
И в том была храбрость, и в том была честность
Для тех годов, и недель, и дней,

* * *

Мне первый раз сказали: «Не болтай!»—
По полевому телефону.
Сказали: — Слуцкий, прекрати бардак,
Не то ответишь по закону.

А я болтал от радости, открыв
Причину, смысл большого неуспеха,
Болтал открытым текстом.

Было к спеху.

Покуда не услышал взрыв
Начальственного гнева
И замолчал, как тать.
И думал, застывая немо,
О том, что правильно, не следует болтать.

Как хорошо болтать, но нет, не следует.
Не забывай врагов, проныр, пролаз.
А умный не болтает, а беседует
С глазу на глаз. С глазу на глаз.

* * *

Твоя тропа, а может быть, стезя,
Похожая на тропы у Везувия,
И легкое, легчайшее безумие,
Безуминка (а без нее — нельзя).
А без нее мы просто груды слов,
Над словарями сморщенные лобики,
Ревнители элементарной логики,
Любимейшей премудрости основ.
Когда выходят старики беззубые,
Все фонари, все огоньки туши.
Угасло все. Но слышно, как души
Под свежим пеплом теплится безумие.
Как предваривший диалог оркестр,
Как что-нибудь мятежное такое,
Последнейшая форма непокоя,
Когда все успокоилось окрест.

* * *

Поэзия — не мертвый столб.
Поэзия — живое дерево,
А кроме того — чистый стол,
А кроме того — окна слева.
Чтоб слева падал белый свет
И серый, темный, вечеровый, —
Закаты, полдень и рассвет,
Когда, смятен и очарован,
Я дерево чудное ращу,
И кроной небу угрожаю,
И скудную свою пращу
Далеким камнем заряжаю.

* * *

Как незасыпанный окоп
В зеленом поле ржи,
Среди стихов иных веков,
Наш тихий стих, лежи.

Пускай, на звезды засмотришь,
Покой и тишь любя,
Читатели иных веков
Оступятся в тебя.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОЦЕНКИ

Прощая неграмотность и нахрап,
Читатель на трусость, как на крап
На картах, в разгар преферанса,
Указывать нам старался.

Он только трусости не прощал
И это на книгах возмещал:
Кто смирностью козыряли,
Прочно на полках застряли.

Забыв, как сам он спины гнул,
Читатель нас за язык тянул,
Законопослушными брезгал
И аплодировал резким.

Хотя раздражала многих из нас
Читательская погонялка,
Хотя от нажима рассерженных масс
Себя становилось жалко, —
Но этот повышенный интерес
Сработал на литературный процесс.

* * *

На экране — безмолвные лики
И бесшумные всплески рук,
А в рядах — справедливые крики:
Звук! Звук!
Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
Говорило чтоб и язвило.
Слово — половина дела.
Лучшая половина.

Эти крики из задних и крайних,
Из последних темных рядов
Помню с первых, юных и ранних
И незрелых моих годов.

Я себя не ценю за многое,
А за это ценю и чту:
Не жалел высокого слога я,
Чтоб озвучить ту немоту,
Чтобы рявкнули лики безмолвные,
Чтоб великий немой заорал,
Чтоб за каждой душевной молнией
Раздавался громов хорал.

И безмолвный еще с Годунова,
Молчаливый советский народ
Говорит иногда мое слово,
Применяет мой оборот.

ШЕСТОЕ НЕБО

Любитель, совместитель, дилетант —
Все эти прозвища сношу без гнева.
Да, я не мастер, да, я долетал
Не до седьмого — до шестого неба.

Седьмое небо — хоры совершенств.
Шестое небо — это то, что надо.
И если то, что надо, совершил,
То большего вершить тебе не надо.

Седьмое небо — это блеск, и лоск,
И ангельские, нелюдские звуки.
Шестое небо — это ясный мозг
И хорошо работающие руки.

Седьмое небо — вывеска, фасад,
Излишества, колонны, все такое.
Шестое небо — это дом, и сад,
И ощущение воли и покоя.

Шестое небо — это взят Берлин.
Конец войне, томительной и длинной.
Седьмое небо — это свод былин
Официальных
о взятии Берлина.

Сам завершу сравнения мои
И бережно сложу стихов листочки.
Над «и» не надо ставить точки. «И»
Читается без точки.

ЭТО ПРАВДА

Многого отец не понимал,
Например, значенья рифмы.
Этот странный молоточек
Беспокоил, волновал его.

А еще он думал: хорошо
Пишет сын, но слишком много платят.
Слишком много денег он берет.
Вдруг одумаются, отберут назад.

— Это правда? — спрашивал отец,
Если сомневался в этой правде,
Но немедля вспоминал, что я
С детства врать не обучался.

Сколь невероятна ни была
Правда моего стихотворенья,
Сердце барахлящее скрепя,
Уверял отец, что это правда.

Инженером я не стал. Врачом —
Тоже. Ремеслу не обучился.
Офицером перестал я быть —
Много лет, как демобилизовался.

Первым и в соседстве и в родстве
И в Краснозаводском районе
Жил я только на стихи.
Как же быть могли они неправдой?

* * *

Актеры грим смывают
И сразу забывают,
В которой были роли
И что они играли.

Актер берет актрису,
Идет с ней в ресторан.
Ему без.интересу,
Чего он растерял,
Какое сеял семя.
Он просто ест со всеми.

Мне дивны факты эти.
У нас другой фасон.
Звенит звонок в поэте,
Звенит сквозь явь и сон.

Звоночек середь ночи
Поднимет, шлет к столу,
Чтоб из последней мочи
Светить в ночную мглу.

Сначала помогает,
А после — помыкает,
Зато звенит — всегда
В дни быта и труда.

* * *

Сосредоточусь. Силы напрягу.
Все вспомню. Ничего не позабуду.
Ни другу, ни врагу
Завидовать ни в чем не буду.

И — напишу. Точнее — опишу,
Нет — запишу магнитофонной лентой
Все то, чем в грозы летние дышу,
Чем задыхаюсь зноем летним.

Магнитофонной лентой будь, поэт,
Скоросшивателем входящих. Стой на этом,
Покуда через сколько-нибудь лет
Не сможешь в самом деле стать поэтом.

Не исправляй действительность в стихах,
Исправь действительность в действительности
И ты поймешь, какие удивительности
Таятся в ежедневных пустяках.

КАК МОГ

Начну по порядку описывать мир,
Подробно, как будто в старинном учебнике,
Учебнике или решебнике,
Залистанном до окончательных дыр.
Начну не с предмета и метода, как
Положено в книгах новейшей эпохи, —
Рассыплю сперва по-старинному вздохи
О том, что не мастер я и не мастак,
Но что уговоры друзей и родных
Подвигли на переложение это.
Пишу, как умею, Кастанальский родник
Оставив удачнику и поэту.
Но прежде, чем карандаши очиню,
Письмо-посвящение я сочиню,
Поскольку когда же и где же видели
Старинную книгу без покровителя?
Не к здравому смыслу, сухому рассудку,
А к разуму я обращаюсь и уму.
И всюду к словам пририсую рисунки,
А схемы и чертежи — ни к чему.
И если бумаги мне хватит

и бог

Поможет,

и если позволят года мне,

Дострою свой дом

до последнего камня

И скромно закончу словами:

«Как мог»,

* * *

И положительный герой,
И отрицательный подлец —
Раздуй обоих их горой —
Мне надоели наконец.

Хочу описывать зверей,
Хочу живописать дубы,
Не ведать и не знать дабы,
Еврей сей дуб иль не еврей,

Он прогрессист иль идиот,
Космополит иль патриот,
По директивам он растет
Или к свободе всех зовет.

Зверь это зверь. Дверь это дверь.
Длину и ширину измерь,
Потом хоть десять раз проверь
И все равно: дверь — это дверь.

А — человек?
Хоть мерь, хоть весь,
Хоть сто анкет с него пиши,
Казалось, здесь он.
Нет, не здесь.
Был здесь и нету ни души.

* * *

Как испанцы — к Америке,
Подплыву к современности.
Не мудрее Колумба,
Принимать я привык
За Америку — Кубу,
Остров — за материк.
Я поем кукурузы,
Табакую покурю,
Погружу свои грузы,
Племена покорю,
Разберусь постепенно
В том, что это — не Индия.
В том, что здесь нестерпимо,
В том, что внове увидено,
Что плохое, что славное.
Постепенно и планоно
Насобачусь я главное
Отличать от неглавного.

* * *

Стояли сосны тесно,
Блистали сосны росно.
Прямые как отвес, но
Развесистые сосны.
И можно длить и холить речь,
Сравненьем тешить новым,
А можно просто рядом лечь
И подышать сосновым.

* * *

Не особый талант пророчества —
Это было значительно проще все:
От безмерного одиночества
Отдавал я дни и ночи все
Мемуарам передним числом.
Это стало моим ремеслом.
Не пророчу и не догадываюсь —
Я не столь глубок и широк,
Как тяжелый шар я докатываюсь
До конца,
раньше легких шаров.

* * *

Маловато думал я о боге.
Видно, он не надобился мне
Ни в миру, ни на войне,
И ни дома, ни в дороге.
Иногда он молнией сверкал,
Иногда он грохотал прибоем,
Я к нему — не призывал.
Нам обоим
Это было не с руки.
Бог мне как-то не давался в руки.
Думалось: пусть старики
И старухи
Молятся ему.
Мне покуда ни к чему.
Он же свысока глядел
На плоды усилий всех отчаянных.
Без меня ему хватало дел —
И очередных и чрезвычайных.
Много дел: прощал, казнил,
Слушал истовый прибой оваций.
Видно, так и разминемся с ним,
Так и не придется стыковаться.

* * *

Народ за спиной художника
И за спиной Ботвинника,
Громящего остороженько
Талантливого противника.
Народ,
 за спиной мастера
Нетерпеливо дышащий,
Но каждое слово
 внимательно
Слушающий
 и слышащий,
Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною.
Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною.

* * *

Все правила — неправильны,
Законы — незаконны,
Пока в стихи не вправлены
И в ямбы — не закованы.

Период станет эрой.
Столетье — веком будет,
Когда его поэмой
Прославят и рассудят.

Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
Пока поэт не скажет,
Что он — за это,

До этих пор — не кончен спор.

* * *

Я очень мал, в то время как Гомер
Велик и мощен свыше всяких мер.

Вершок в сравненьи с греческой верстою,
Я в чем-то важном все же больше стою.

Я выше. Я на Сталине стою
И потому богов не воспою.

Я больше, потому что позже жил
И од своим тиранам не сложил.

Что может Зевс, на то плевать быкам,
Подпиленным рогам, исхлестанным бокам.

* * *

Человечество делится на две команды.
На команду «смирно»
И команду «вольно».
Никакие судьи и военкоматы,
Никакие четырехлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного —
Только свободы.

* * *

В свободное от работы время
Желаю читать то, что желаю,
А то, что не желаю, — не буду.
Свобода чтения — в нашем возрасте
Самая лучшая свобода.
Она важнее свободы собраний,
Необходимой для молодежи,
И свободы шествий,
Необходимой для променада,
И даже свободы мысли,
Которую все равно не отнимешь
У всех, кто
способен мыслить.

* * *

Потомки разберутся, но потомкам
Придется, как студентам — по потокам
Сперва разбиться,
 после — расстараться,
Чтоб разобраться.

Потомки по потокам разобьются,
Внимательны, умны, неотвратимы,
Потрудятся, но все же разберутся
Во всем, что мы наворотили.

Давайте же темнить, мутить и путать,
Концы давайте в воду прятать,
Чтоб им потеть, покудова распутать,
Не сразу взлезть,
Сначала падать.
Давайте будем, будем, будем
Все, что не нужно или же не надо.
И ни за что не будем, нет, не будем
Все то, что нужно, правильно и надо.

* * *

Поэты потрясали небеса,
Поэты говорили словеса,
А скромные художники
Писали в простоте
Портреты — на картончике,
Пейзажи — на холсте.
Поэт сначала требует: «Вперед!»
Потом: «Назад!» — с волнением зовет,
А тихие ваятели
Долбают свой гранит.
— Какие обыватели! —
Поэт им говорит.

* * *

По кругу Дома творчества
Медлительно мечутся
Самоуверенные,
Себялюбивые,
Не уважающие себя писатели.
Они думают:
В городе кислородное голодание,
Здесь природа, сыр-бор.
Спокойно дождусь переиздания.
Протяну до тех пор.
Они думают:
Жизнь прошла
Шумно, хлопотно, нескладно.
Ни двора, ни кола.
Дом творчества есть и ладно.
Они думают:
Навстречу идущий
Ругал меня в тридцать пятом году.
О, ты, загребуший и завидуший,
Поддай тебе господи болезнь и беду.
Они думают:
До обеда
Ровно два с половиной часа.
А сколько до смерти?
Ее не объеду,
Она уже подает голоса.
Как змея, заглатывающая свой хвост,
В сущности, очень прост
Пережевывающий без риска
Воспоминаний огрызки
Писатель в Доме творчества.

* * *

Разговаривать неохота
Ни обрадованно, ни едко.
Я разведка, а вы пехота.
Вы пехота, а мы разведка.

Мы окопов ваших не строим.
Мы не ходим державным шагом.
Не роимся вашим роем
Под развернутым вашим флагом.

Вы — хорошие. Мы — другие.
Мы — без денег и без моторов.
Мы — не черная металлургия.
Мы — промышленность редких металлов.

Мы — выигрыш. Вы — зарплата.
Вы — нормальные, вроде плана.
Мы — цветастые, как заплата
На дырявой спине цыгана.

Уважаю вашу дельность,
Сметку, хватку, толковость, серьезность,
Но люблю свою отдельность,
Единичность или розность.

* * *

Меня не обгонят — я не гонюсь.
Не обойдут — я не иду.
Не согнут — я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.

Я гореприемник, и я вместительней
Радиоприемников всех систем,
Берущих все — от песенки обольстительной
До крика — всем, всем, всем.

Я не начальство: меня не просят.
Я не полиция: мне не доносят.
Я не советую, не утешаю.
Я обобщаю и возглашаю.

Я умещаю в краткие строки —
В двадцать плюс-минус десять строк —
Семнадцатилетние длинные сроки
И даже смерти бессрочный срок.

На все веселье поэзии нашей,
На звон, на гром, на сложность, на блеск
Нужен простой, как ячная каша,
Нужен один, чтоб звону без.
И я занимаю это место.

* * *

Жалкой жажды славы — не выкажу —
Ни в победу, ни в беду.
Я свои луга
 еще выкошу.
Я свои алмазы —
 найду.

Честь и слава. Никогда еще
Это не было так далеко.
Словно сытому с голодающим
Им друг друга понять нелегко.

Словно сельский учитель пения,
Сорок лет голоса ищу.
И поганую доблесть терпения,
Как лимон — в горшке ращу.

* * *

Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в тень,
На худой конец и про черный день.
Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сгложу судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?

ПРИМЕЧАНИЯ

Время полного собрания сочинений Б. А. Слуцкого еще не пришло. И дело не только в том, что большое количество его произведений — поэтических в первую очередь — никогда не публиковалось и, следовательно, не прошло даже первоначальной «читательской обкатки». И даже не в том, что такому изданию должна предшествовать большая и многосторонняя работа по изучению и творчества, и творческого пути поэта, в частности, скрупулезное исследование хотя бы приблизительных датировок рабочих тетрадей и отдельных стихотворений (уже сейчас известно, что Слуцкий лишь в редчайших случаях проставлял под своими стихотворениями даты их написания, да и те, что все же проставлены, не всегда достоверны — это касается прежде всего периода 40—50-х годов). Дело в том, что нашему читающему обществу и обществу вообще «полный» Слуцкий пока что, кажется, и не требуется.

Тем не менее уже ощущается необходимость собрать воедино наиболее ценное из того, что было опубликовано им при жизни и что оказалось возможным опубликовать после его смерти (за пять лет, прошедших со дня его кончины в феврале 1986 года, в печати появилось — в журналах, газетах, альманахах, в нововышедших книгах поэта — более 1000 стихотворных текстов). Эту задачу и призвано исполнить настоящее издание.

Перед составителями любого репрезентативного издания сочинений Слуцкого неизбежно вновь и вновь будет вставать вопрос об определении принципа расположения поэтических текстов, как встал он однажды перед самим поэтом. Готовя в начале 1977 года к печати свое «Избранное» (оно вышло в издательстве «Художественная литература» через три года, в которые поэт, будучи тяжело больным, уже никакого участия в его судьбе не принимал), Слуцкий оказался перед дилеммой: выстроить ли его по девяти авторским сборникам (восемь уже существовали, девятый — «Неоконченные споры» — был только что сдан в «Советский писатель» и в следующем году вышел в свет) или воспользоваться тематическим принципом, удачно примененным в большинстве его сборников. Об этом Слуцкий советовался и с другими, в частности, с автором

настоящих примечаний. Предложенный мною обычный хронологический принцип Слуцкий был вынужден отвергнуть по указанной выше причине (тогда-то я впервые услышал от него самого и об отсутствии датировок, и о неверных, «камуфляжных» датах).

В конце концов Слуцким было принято некое компромиссное решение: стихи из первой книги предшествовали стихам из второй и т. д., в то же время были произведены некоторые перестановки отдельных произведений ради их сближения по тематике; стихотворения располагались сплошной массой без какого-либо подразделения. В то же время отсутствие авторского наблюдения и некоторый недосмотр редактора книги привели к тому, что иные стихотворения оказались в книге на местах, трудно объяснимых и тем, и другим принципом. Само собой, что такое разрешение составительских задач никак не применимо в собрании сочинений, особенно если учесть, что оно появляется в совершенно иной общественной и цензурной обстановке, нежели та, что сопровождала издание авторских сборников и «Избранного» 1980 года.

Принятый составителем настоящего собрания сочинений порядок расположения стихотворений, о котором будет сказано чуть позже, прежде всего исходит из того, что состав прижизненных сборников Слуцкого ни в коей мере не соответствовал авторской воле. Ни в первую, ни в последующие книги Слуцкого не входили и не могли войти очень многие стихотворения, написанные к моменту создания той или иной книги. В разной мере здесь играли свою роль и цензурные требования, и редакторский вкус, и оговоренный издательством объем сборника. К сожалению, в архиве поэта не оказалось каких-либо следов авторских замыслов той или другой книги. В то же время сказанное — не домысел пишущего эти строки. В 1974 году Слуцкий предоставил мне на несколько дней экземпляр машинописи книги «Продленный полдень», только что сданной им в издательство. Могу лишь запоздало корить себя за то, что не зафиксировал состав книги и расположение стихотворений в ней; однако перепечатал те произведения, которые были неизвестны мне ни по публикациям в периодике, ни по предыдущим посещениям Слуцкого и ознакомлениям с его неопубликованными стихотворениями. Это и дало мне возможность через год, когда книга «Продленный полдень» вышла в свет, увидеть, что многое, бывшее в первоначальном составе книги, в нее не вошло. (Нечто подобное едва не произошло и с «Избранным» 1980 года, в которое, кстати говоря, были включены лишь печатно апробированные произведения; первоначально издательство потребовало исключения из него около 60 стихотворений; лишь своевременное и энергичное вмешательство К. М. Симонова помогло свести этот издательский «индекс» до минимума: 12—15 стихотворений, — тех, что некогда при их публикации вызвали особенно памятное негодование в соответст-

вующих отделах ЦК или КГБ — отстоять их было не под силу и Симонову.)

Тем не менее совсем не принимать во внимание прижизненные сборники, игнорировать их существование, состав, так или иначе проявленную в них авторскую волю, наконец, их бытование в читательской среде было бы, думается, неверным. Самое предварительное исследование творческого и мировоззренческого пути Слуцкого позволяет понять, что иные стихи, скажем, 40—50-х годов, не вошедшие в книги «Память» (1957) и «Время» (1959), которые пынешнему взгляду могут показаться явно не допущенными к печати тогдашними редактурой или цензурой, сознательно и принципиально не включались в эти книги тогдашним Слуцким. Помешать их смещению со стихотворениями, действительно запрещенными или на время приостановленными, практически невозможно, ибо точного и полного знания об этих предметах добыть уже негде, но как-либо отъединить их от произведений, вошедших в авторский сборник, возможно и наверняка необходимо.

В то же время и разводить по разным томам собрания сочинений произведения поэта, созданные в один и тот же творческий и исторический период, никак не хотелось. Ибо это помешало бы созданию у читателя верного представления об упомянутом выше творческом и мировоззренческом пути Слуцкого, что как раз является одной из главных задач предпринимаемого издания. Так что соединение в отдельном томе стихотворений, извлеченных из поистине огромного массива произведений поэта, оказавшихся неопубликованными при его жизни, стало бы не только упрощенным, но прежде всего искаженным решением и составительских проблем, и издательских задач.

Все вышеприведенные соображения и определили тот порядок расположения стихотворений, который будет главенствовать в первом собрании сочинений Б. А. Слуцкого. Вслед за разделом «Из ранних стихов» последуют стихи из первой книги поэта «Память», затем — отдельно от них — стихотворения, писавшиеся в то же время, что и стихотворения, составившие первую книгу, но по разным причинам не включенные или не вошедшие в нее. Затем будет представлена книга «Время» и — также отдельно — стихи 1957—1958 годов. Завершают первый том книга «Сегодня и вчера» (1961) и стихи 1959—1960 годов, в нее не вошедшие.

По такому же принципу собраны и следующие тома собрания сочинений. Основу второго тома составят книги стихов «Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973) и стихи 1960—1971 годов. Основу третьего — книги стихов «Продленный полдень» (1975), «Неоконченные споры» (1978) и стихи 1971—1976 годов; отдельным, заключительным разделом тома будут стихи 1977 года (вернее, февраля—мая 1977 го-

да), написанные поэтом в три месяца, пролегающие между смертью жены Татьяны Борисовны Дашковской и началом девятилетней болезни поэта, заставившей его умолкнуть.

В нескольких случаях стихи, о которых более или менее точно известно, когда они написаны, но напечатанные в значительно более поздних книгах, окажутся перемещенными в «свое» место и в «свое» время.

Вроде бы остается неучтенной последняя прижизненная книга стихов Слуцкого «Сроки» (1984). Но она складывалась без какого-либо участия автора составителем настоящего издания и редактором издательства «Советский писатель» В. С. Фогельсоном из стихов, некогда опубликованных в периодике, но ни в одну из прежних книг поэта не входивших, и из неопубликованных стихов, бывших тогда в нашем распоряжении (в частности, большую помощь нам тогда оказали брат поэта Е. А. Слуцкий и давняя знакомая поэта — Е. С. Ласкина). Автор увидел книгу «Сроки» лишь по ее выходе. Так что, несмотря на одобрение Слуцким нашей с Фогельсоном работы по подготовке и изданию книги, авторская воля в ней никак не проявлена. К тому же в ней, что и отражено в подзаголовке, оказались стихи разных лет, а не какого-либо определенного периода творчества. Поэтому стихи из нее не представлены в собрании сочинений специальным разделом, а разнесены по соответствующим томам и разделам.

В примечаниях указывается первая публикация стихотворения, поэтому то, что публикация — первая, специально не оговаривается. Последующие публикации называются лишь в том случае, если в них содержатся значимые исправления или дополнения текста. Реальный комментарий к тексту сведен к совершенно необходимому минимуму, без которого понимание текста современным, особенно молодым, читателем затруднено или даже невозможно.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

- БЗ* — Слуцкий Б. Я историю излагаю... Книга стихотворений. М., Правда, 1990 (Библиотека журнала «Знамя»).
- БИЛ* — Слуцкий Б. Избранная лирика. М., Молодая гвардия, 1965 (Библиотечка избранной лирики).
- БК* — Слуцкий Б. Сеанс под открытым небом. М., Правда, 1988 (Библиотека «Крокодила», № 10).
- БО* — Слуцкий Б. Без поправок. Стихи. М., Правда, 1988 (Библиотека «Огонек», № 27).
- БСП* — Слуцкий Б. Стихотворения. М., Художественная литература, 1989 (Библиотека советской поэзии).

- ВЛ* — журнал «Вопросы литературы».
- ВМР* — Слуцкий Б. Время моих ровесников. Стихотворения. М., Детская литература, 1977.
- Время* — Слуцкий Б. Время. Стихи. М., Молодая гвардия, 1959.
- ГС* — Слуцкий Б. Годовая стрелка. Стихи. М., Советский писатель, 1971.
- ДД* — Слуцкий Б. Доброта дня. Новая книга стихов. М., Современник, 1973.
- ДН* — журнал «Дружба народов».
- ДП* — альманах «День поэзии».
- Избранное* — Слуцкий Б. Избранное. 1944—1977. М., Художественная литература, 1980.
- КП* — газета «Комсомольская правда».
- ЛГ* — «Литературная газета».
- ЛО* — журнал «Литературное обозрение».
- ЛР* — газета «Литературная Россия».
- МГ* — журнал «Молодая гвардия».
- МК* — газета «Московский комсомолец».
- НМ* — журнал «Новый мир».
- НС* — Слуцкий Б. Неоконченные споры. Стихи. М., Советский писатель, 1978.
- Память* — Слуцкий Б. Память. Книга стихов. М., Советский писатель, 1957.
- Память-69* — Слуцкий Б. Память. Стихи. 1944—1968. М., Художественная литература, 1969.
- ПП* — Слуцкий Б. Продленный полдень. Книга стихов. М., Советский писатель, 1975.
- Работа* — Слуцкий Б. Работа. 4 книга стихов. М., Советский писатель, 1964.
- СВ* — Слуцкий Б. Сегодня и вчера. Книга стихов. М., Молодая гвардия, 1961 (2-е изд. — 1963).
- СИ* — Слуцкий Б. Современные истории. Новая книга стихов. М., Молодая гвардия, 1969.
- СМ* — журнал «Сельская молодежь».
- СРЛ* — Слуцкий Б. Стихи разных лет. Из неизданного. М., Советский писатель, 1988.
- Сроки* — Слуцкий Б. Сроки. Стихи разных лет. М., Советский писатель, 1984.
- Судьба* — Слуцкий Б. Судьба. Стихи разных лет. М., Современник, 1990.
- Тар. стр.* — Тарусские страницы. Литературно-художественный иллюстрированный сборник. Калуга, 1961.
- ФиС* — журнал «Физкультура и спорт».

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Ранние стихи Б. А. Слуцкого, особенно довоенные, сохранились в очень малом количестве. Этому способствовали война и вызванная ею эвакуация родителей поэта из Харькова, долгая послевоенная бездомность Слуцкого. Количество и значимость этих потерь особенно ощущаются в разговорах с давними знакомыми поэта, когда они приводят по памяти строчки и строфы из неизвестных стихотворений. Впрочем, есть и документированное свидетельство, сбереженное переводчиком В. М. Россельсом. 1 апреля 1955 года Слуцкий составил «Библиографию» — список стихов, написанных к тому времени (вряд ли полный, так как в него не вошли иные довоенные и послевоенные стихотворения, как находившиеся в его архиве, так и обнаруженные в других личных архивах; скорее всего это был список стихотворений, которые он на ту пору считал ценными, законченными и годными к опубликованию; возможно также, что это был своеобразный «смотр сил» перед предстоящей «баталией» — подготовкой первой книги). Около 20 стихотворений с такими характерными, к примеру, названиями и первыми строками, как «Цырульня», «Могилы власовцев», «Всюду очереди», «Быки ревут, придя под обух...», «Ирландские евреи», «Я и Маргерита Готье», «Настоящее горе не терпит прикрас...» и др., до сих пор неизвестны.

Впрочем, находки происходили и продолжают происходить. В частности, этот раздел данного тома своим существованием во многом обязан тому же В. М. Россельсу, сохранившему и передавшему мне для ознакомления толстую папку с машинописью многих стихотворений Слуцкого; Е. В. Коротковой, давшей возможность ознакомиться с папкой, сохранившейся в архиве ее отца, В. С. Гроссмана, в которой содержались опубликованные и неопубликованные стихи любимых им поэтов-современников и в которой был специальный «отсек», отведенный стихам Слуцкого, года два бывшего соседом Гроссмана и забегавшего к тому порой и для того, чтобы прочитать новое стихотворение (Гроссман, как вспоминает дочь, в таких случаях отбирал у автора понравившееся стихотворение); поэту Е. Б. Рейну, предоставившему машинопись нескольких стихотворений Слуцкого, некогда подаренную автором; С. А. Лихтаревой, вдове харьковского ученого-физика Я. Е. Гегузина, многолетнего (с начала 30-х годов) товарища поэта. Кроме того, в каждой из этих находок оказывались значимые варианты; они позволили внести важные коррективы в ранее опубликованные и покалеченные цензурой произведения.

Стихи, входящие в этот раздел, в большинстве своем публику-

ются впервые, и этот факт в каждом отдельном случае специально не оговаривается. В примечаниях же к стихам, публиковавшимся до выхода этого тома, как и положено, указывается место и время первой публикации.

Генерал Миаха, наблюдающий переход испанскими войсками французской границы (стр. 25). — В своих воспоминаниях литературовед и переводчик С. К. Апт (журнал «Страна и мир», Мюнхен, 1989, № 4 (52) рассказывает о том, как Слуцкий читал это стихотворение на встрече И. Эренбурга, недавно вернувшегося из Испании, с литературным активом Харьковского Дворца пионеров. *Генерал Миаха* — военный министр правительства Испанской Республики во время гражданской войны в Испании.

Инвалиды (стр. 26). — БСП.

Золото и мы (стр. 31). — БЗ.

«Я был учеником у Маяковского...» (стр. 37). — БЗ.

В Германии (стр. 43). — БЗ.

Возвращаем лендлиз (стр. 46). — БЗ. *Лендлиз* — военные материалы и продовольствие, поставляемые США нашей стране во время Великой Отечественной войны.

Баллада о трех нищих (стр. 51). — БЗ.

«Чужие люди почему-то часто...» (стр. 64). — БЗ.

«Скользили лыжи. Летали мячики...» (стр. 69). — БЗ.

«У Абрама, Исака и Якова...» (стр. 71). — Год за годом. Лит. ежегодник. Вып. 5. М., Сов. писатель, 1989.

«Почему люди пьют водку?..» (стр. 72). — Вечерняя Казань, 1990, 20 марта.

«Грехи и огрехи...» (стр. 78). — Крокодил, 1986, № 34.

«Ордена теперь никто не носит...» (стр. 80). — *Тар. стр.*, под названием «За ношение орденов!».

ПАМЯТЬ (1957)

Первую свою книгу Б. Слуцкий обдумывал долго и составлял тщательно. Одним из ее предполагаемых названий было — «Записки политработника». Конечно, такое название предполагало и иной состав книги. Возможно, один из ее разделов должен был быть составлен из стихотворений с однотипными названиями: на эту догадку наталкивают опубликованные в 50-е годы «Говорит комиссар полка», «Говорит политрук» и обнаруженные позже «Говорит агитатор», «Говорит Мате Залка», «Говорит Фома».

Книга, подписанная к печати 22 июня 1957 года, вышла в свет в конце года. Подготовленный не очень многими, но значительными журнальными, газетными и альманашными публикациями, а также статьей И. Г. Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого» (ЛГ, 1956, 28 июля), читатель встретил книгу восторженно, в отличие от тогдашней критики. Названия рецензий и реплик говорили сами за себя: «Дверь в потолок» (С. Островой; ЛГ, 1958, 4 февр.), «Ложные искания» (А. Дымшиц; Звезда, 1958, № 6) и т. п. А. Дымшиц, как и В. Назаренко, А. Эльяшевич, А. Софронов, Н. Вербицкий, находил в стихах Слуцкого «черты эпигонства», «отсутствие боевой партийности», «нарочитое снижение героики». Был среди негативных откликов и стихотворный — «Моя судьба» Сергея Баренца (Сов. воин, 1958, № 11).

Но были у книги и вообще у поэзии Слуцкого и защитники. В обзорных статьях, в докладах о поэзии (была тогда такая форма критики, проникавшая и на страницы печати) возникали мнения, попутные замечания, противоречащие вышеупомянутым, доказательно спорящие с ними. Кроме того, книга активно и победительно защищала сама себя. Постепенно складывалось и сложилось убеждение, дожившее до нынешнего дня: «Память» — один из самых сильных книжных дебютов в поэзии 40—60-х годов, самая «выстроенная» книга Бориса Слуцкого.

Памятник (стр. 83). — ЛГ, 1953, 15 августа. Первое стихотворение, напечатанное поэтом после войны.

Кельнская яма (стр. 85). — ДП, 1956. Однако задолго до этого произошла еще одна «публикация» части этого стихотворения — двух его строф. По возвращении из армии Слуцкий, возобновив знакомство с И. Г. Эренбургом (перешедшее впоследствии в тесную дружбу), подарил ему экземпляр своих записок о войне. В них содержался единственный поэтический текст, авторство которого специально не было оговорено — именно «Кельнская яма». Эренбург, видимо, решил, что стихи принадлежат неизвестному советскому военнопленному, скорее всего, погибшему в фашистских концлагерях. И две строфы из него — 7-ю и 8-ю — включил в свой роман «Буря» (ч. 5, гл. 12), печатавшийся тогда в «Новом мире» (1947, № 8, с. 117). После публикации истина выяснилась, и из книжных изданий «Бури» Эренбург стихи Слуцкого устранил.

Гора (стр. 87). — Октябрь, 1956, № 1, под заглавием «Хлеб». В первоначальном варианте между 12-й и 13-й строками идут следующие 8 строк:

(Весело в магазинах —
Там только вино и крабы.
Мол, надо бы выпить, братцы,
И закусить пора бы.

А нам не хотелось выпить,
Закусывать нам неохота,
А нам хотелось выбить
Из Харькова мотопехоту.)

Госпиталь (стр. 89). — *Память*. История создания стихотворения рассказана автором в незаконченной работе «К истории моих стихотворений» (*ВЛ*, 1989, № 10, с. 197—199).

Военный рассвет (стр. 91). — Октябрь, 1955, № 2.

«Последнею усталостью устав...» (стр. 93). — *КП*, 1956, 20 июля. Стихотворение вызвало особенно ожесточенные нападки поэтов, критиков и части читателей.

«— Хуже всех на фронте пехоте!..» (стр. 94). — *Знамя*, 1956, № 7.

Как меня принимали в партию (стр. 95). — *НМ*, 1957, № 7.

Сон («Утро брезжит...») (стр. 97). — *Знамя*, 1956, № 7. В *БСП* впервые напечатаны 4 строки, начинающиеся с «Потому что так пелось с детства».

Писаря (стр. 99). — Октябрь, 1955, № 2.

Задача (стр. 101). — *Память*.

Итальянец (стр. 102). — *НМ*, 1955, № 3.

О погоде (стр. 105). — Москва, 1957, № 2. Заключительные строки стихотворения навеяны строками друга Слуцкого по Литинституту, поэта Бориса Лебского, написавшего о своем возвращении из заключения: «Вернулся под осень, а лучше бы к маю». Сам Слуцкий позднее привел эти строки в своем стихотворении «Орфей», посвященном судьбе Б. Лебского.

«Я говорил от имени России...» (стр. 107). — *ДП*, 1956.

Засуха (стр. 108). — Октябрь, 1955, № 8, под заглавием «В госпитале».

Мальчишки (стр. 110). — *Знамя*, 1954, № 6.

Перерыв (стр. 112). — Октябрь, 1956, № 1.

Память (стр. 113). — Октябрь, 1956, № 1.

Голос друга (стр. 114). — *ДП*, 1956, под заглавием «Ответ», без посвящения. И окончательное название, и посвящение впервые: *Память*. Сведения и факты, важные для понимания стихотворения, изложены в работе «К истории моих стихотворений» (*ВЛ*, 1989, № 10, с. 200—201).

Глухой (стр. 115). — Октябрь, 1955, № 2. В «Памяти» стихотворение сокращено. В «Октябре» за строкой «И гимн громыхает, как в маршевой роте» следовало:

И слышу за перегородкой шаги я:
Сосед вспоминает о Западном фронте.
Ему вспоминается: утро, танки,

Ветер боя ветви качает.
Снова слышен сигнал атаки —
Последний звук, что он различает.

В рукописи далее:

А я захожу к глухому соседу.
Мы пьем вдвоем за нашу победу,
Которая дорого нам досталась,
Которою мы дорожить — умеем.
За все хорошее, что нам осталось.
За то, что мы ни о чем не жалеем.

Рабочая песня (стр. 117). — Октябрь, 1956, № 1.

Однофамилец (стр. 118). — Знамя, 1954, № 6.

Баня (стр. 119). — Октябрь, 1955, № 2.

Школа для взрослых (стр. 121). — Октябрь, 1955,
№ 8.

Счастье («Словно луг запах...») (стр. 123). — *НМ*, 1956,
№ 10.

Три сестры (стр. 124). — *Память*.

Лошади в океане (стр. 126). — Пионер, 1956, № 3.

Посвящение И. Эренбургу впервые: *СВ*. Обстоятельства написания, публикации и бытования стихотворения изложены в работе «К истории моих стихотворений» (*ВЛ*, 1989, № 10, с. 193—195).

Зоопарк ночью (стр. 128). — *Память*. Последние 4 строки печатаются впервые по автографу Б. Слуцкого на экземпляре книги, подаренном составителю.

Гудки (стр. 129). — Октябрь, 1956, № 1.

Медные деньги (стр. 130). — Знамя, 1957, № 2.

Второй этаж (стр. 131). — *Память*.

Блудный сын (стр. 132). — *ДП*, 1956.

С нашей улицы (стр. 133). — *ДП*, 1956.

Памяти товарища (стр. 134). — *ЛГ*, 1956, 14 июля.

В *БСП* напечатано под заглавием «Памяти Юрия Инге» и с предпоследней строкой: «И что товарищ Инге перед смертью».

«Музыка на вокзале...» (стр. 135). — Октябрь, 1955,
№ 8.

«Толпа на Театральной площади...» (стр. 136). —
Знамя, 1956, № 7.

Лишь незначительное число стихотворений этого раздела, написанных в 1952—1956 годах, было напечатано в те же годы, но по тем или иным причинам не вошло в книги «Память» и «Время». В подавляющем большинстве они смогли быть опубликованы только после смерти поэта или несколько ранее. Часть стихотворений печатается впервые.

«У офицеров было много планов...» (стр. 137). — ДП, 1957.

Бухарест (стр. 138). — Огонек, 1988, № 17.

«Пред наших танков трепеша судом...» (стр. 140). — Звезда, 1982, № 6.

Домой (стр. 141). — НМ, 1956, № 10.

Фотографии картин, сожженных оккупантами (стр. 142). — Печ. впервые.

«Туристам показываю показательное...» (стр. 143). — Волга, 1989, № 10.

«Пристальность пытливую не пряча...» (стр. 144). — ДН, 1987, № 6, без последней строфы. Полностью: БО.

«Я судил людей и знаю точно...» (стр. 145). — ДН, 1987, № 6.

Говорит Фома (стр. 146). — Знамя, 1989, № 3.

Квадратки (стр. 148). — БЗ.

Болезнь (стр. 150). — БСП.

Баллада (стр. 152). — Знамя, 1983, № 10.

«В поэзии красна изба — углами...» (стр. 154). — Печ. впервые.

«Я не могу доверять переводу...» (стр. 155). — Печ. впервые.

М. В. Кульчицкий («Одни верны России...») (стр. 156). — ДП, 1956, 1-я строфа. Более полная публикация, до строки «Великое и новое назвать...»: *Работа*. Еще 4 строки добавилось в почти одновременно вышедшем издании: *Сквозь время*. Павел Коган. Михаил Кульчицкий. Николай Майоров. Николай Отрада. Стихи поэтов и воспоминания о них. М., Сов. писатель, 1964. Полностью: БСП.

Ключ (стр. 158). — НМ, 1987, № 10.

Злые собаки (стр. 159). — СМ, 1986, № 1.

«С Алексеевского равелина...» (стр. 161). — БСП. *Алексеевский равелин* — один из казематов Петропавловской крепости в Петербурге, где содержались политические заключенные. *Черные, как ночь, плащи-накидки, / Блузки белые, как снег...* — Подразумеваются народнические революционеры 60—90-х годов XIX в.

«Я строю на песке, а тот песок...» (стр. 162). — Октябрь, 1988, № 2.

«Все телефоны не подслушаешь...» (стр. 163). — БЗ.

«А нам, евреям, повезло...» (стр. 164). — БСП.

Про евреев (стр. 165). — НМ, 1987, № 10.

В январе (стр. 166). — БЗ.

Современные размышления (стр. 167). — *НМ*, 1987, № 10.

«Не пуля была на излете, не птица...» (стр. 169). — *БСП*.

Бог (стр. 170). — *ЛГ*, 1962, 24 ноября.

Хозяин (стр. 171). — Там же.

«Всем лозунгам я верил до конца...» (стр. 172). — *НМ*, 1987, № 10.

«Начинается новое время...» (стр. 173). — Печ. впервые.

«Парторг вылетает четвертым...» (стр. 174). — Печ. впервые. У-2 — легкий двухместный учебный самолет, во время войны использовавшийся как ночной бомбардировщик.

Демаскировка (стр. 175). — *БЗ*.

«Осознавать необходимость...» (стр. 176). — Печ. впервые.

Верил? (стр. 177). — Печ. впервые. П. П. Постышев (1887—1939), партийный и государственный деятель, и А. В. Косарев (1903—1939), генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, были репрессированы, уничтожены и объявлены «врагами народа».

После реабилитации (стр. 178). — *Знамя*, 1988, № 1. Я. Б. Гамарник (1894—1937), не дожидаясь ареста и расправы, покончил с собой. Тем не менее его имя фигурировало и шельмовалось на процессе военачальников 1937 г. Обстоятельства самоубийства Гамарника в стихотворении изложены неверно, по ходившим в начальную пору реабилитации слухам.

«Ни за что никого никогда не судили...» (стр. 180). — *БЗ*.

Беда (стр. 181). — Печ. впервые.

Комиссия по литературному наследству (стр. 182). — *Огонек*, 1989, № 20.

Одногодки (стр. 183). — Печ. впервые.

Слава («Художники рисуют Ленина...») (стр. 184). — *Искусство Ленинграда*, 1989, № 5.

«Если б я был культом личности...» (стр. 185). — Печ. впервые.

Сон — себе (стр. 186). — *БЗ*.

После двоеточия (стр. 187). — *Наш современник*, 1991, № 2.

Дом в переулке (стр. 189). — *Знамя*, 1989, № 3. По амнистии ворошиловской — так называли в народе довольно широкую амнистию сразу же после смерти И. В. Сталина, указ о которой был подписан тогдашним Председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым.

«Богатые занимают легко...» (стр. 190). — *БЗ*.

«Только война закончится...» (стр. 191). — *Работа*, с 3-й и 4-й строфой, написанными в 60-е годы. Здесь печ. первоначальный вариант стихотворения.

Счастье («Гривенники, пуговицы...») (стр. 192). — *БСП*.

Взрослые (стр. 193). — *Семья*, 1988, № 45.

Счетные работники (стр. 194). — *Наш современник*, 1991, № 2.

«Меняю комнату на горницу...» (стр. 195). — *Огонек*, 1987, № 7.

Искусство (стр. 196). — *БЗ*. Стихотворение вызвано выставкой шедевров Дрезденской картинной галереи, состоявшейся в Москве в 1957 г. *Сикстинка* — полотно Рафаэля «Сикстинская мадонна».

ВРЕМЯ (1959)

Вторая книга стихов Б. Слуцкого во многом повторяла первую: более половины стихотворений из «Памяти» перешло во «Время». К ним были добавлены и новые стихотворения. В то же время, как видно сейчас, написано Слуцким к этому времени было достаточно, чтобы собрать абсолютно новую книгу. Но, видимо, большинство из написанного не удовлетворяло тогдашним издательско-цензурным требованиям. И автору пришлось пойти на компромисс. Книга была подписана к печати в декабре 1958 г. и вышла в свет в первой половине 1959 г.

Она вкупе с новыми публикациями стихов Слуцкого в прессе вызвала новую волну критических претензий. Вновь откликнулся ленинградский критик В. Назаренко — рецензией в грубо-ироническом ключе и с таким же названием «В глубинах подсознания» (*Звезда*, 1961, № 2). Но самой памятной и громкой была статья поэта Л. Ошанина «О «модных» именах и новаторстве» (*ЛГ*, 1959, 10 дек.). Впрочем, буквально в следующем номере «ЛГ» ему ответил поэт В. Боков также большой статьей «Не могу согласиться!», в которой возражал против многих нападок Л. Ошанина.

Книга моментально нашла своего читателя, чему способствовал и ее тираж — 5000 экз., в ту пору повального интереса к поэзии просто-напросто крохотный.

«Ко мне на койку сел сержант-казах...» (стр. 199). — Москва, 1957, № 2, под заглавием «Мы, раненые корпуса «Один»...».

Декабрь 41-го года (стр. 200). — *Время*.

Говорит комиссар полка (стр. 201). — *Знамя*, 1957, № 2, под заглавием «У комиссара на инструктаже».

Когда мы пришли в Европу (стр. 202). — *Время*. В кни-

ге были напечатаны первые три стихотворения цикла. Отточие в конце 3-го стихотворения скорее всего говорит о том, что 4-е стихотворение уже существовало, но не смогло быть напечатано. Полностью цикл впервые: *СВ*.

Крылья (стр. 206). — *Время*.

Из плена (стр. 208). — *Время*.

Раннее утро (стр. 209). — *Знамя*, 1956, № 7.

Дбма! (стр. 211). — *Время*.

«Я не любил стола и лампы...» (стр. 212). — *НМ*, 1957, № 7.

«Вот вам село обыкновенное...» (стр. 213). — *КП*, 1956, 20 июля.

Осенний лес (стр. 214). — *НМ*, 1957, № 7, с исключенной впоследствии автором 4-й строфой.

В метро (стр. 215). — *Время*.

«То слышится крик...» (стр. 217). — *НМ*, 1956, № 10.

Сверстникам (стр. 218). — *Время*.

Поезда (стр. 219). — *Знамя*, 1956, № 7.

Музыка над базаром (стр. 220). — *Знамя*, 1957, № 2.

Летом (стр. 222). — *Знамя*, 1956, № 7.

«Тушат свет и выключают звуки...» (стр. 224). — *Время*.

Тополя (стр. 225). — *Время*, с изменениями. Полностью печ. впервые.

После смерти Сталина, после XX съезда КПСС и известного доклада Н. С. Хрущева на нем, после начала реабилитации оставшихся в живых узников «архипелага ГУЛАГ» в стихи Слуцкого все более откровенно и прямо входят политические темы. И занимают все большее место в его творчестве. Однако обстановка в стране, несмотря на «оттепель», продолжает оставаться такой же, какой она сложилась при Сталине. Так что из всего, что пишет Слуцкий на эти темы, в печать прорывается очень немногое. Но и не писать об этом, хоть большинство написанного так и остается в его рабочих тетрадях, он уже не может. Многим произведениям, созданным в 1957—1958 годах (комментируемый раздел охватывает именно этот период), как и в годы более поздние, предстоит еще долго дожидаться публикации.

«Снова нас читает Россия...» (стр. 226). — *ДН*, 1987, № 6, без последней строфы. Полностью печ. впервые. *По семи и больше рублей* — речь идет о денежном исчислении до денежной реформы 1961 г.

«Воссоздать сумею ли, смогу...» (стр. 227). — *МГ*, 1963, № 1.

- «Руку притянув к бедру потуже...» (стр. 228). — Сов. Россия, 1983, 12 июня.
- Фунт хлеба (стр. 229). — *НМ*, 1986, № 7.
- Война (стр. 230). — *БСП*.
- Воспоминание о журналисте (стр. 231). — *БСП*.
- Статья 193 УК (воинские преступления) (стр. 232). — *ЛО*, 1989, № 7.
- «Остановился на бегу...» (стр. 233). — *Знамя*, 1987, № 1.
- Мост нищих (стр. 234). — *Знамя*, 1988, № 1.
- Ростовщики (стр. 236). — Печ. впервые.
- «Определю, едва взгляну...» (стр. 238). — *Волга*, 1988, № 8.
- «Как залпы оббивают небо...» (стр. 239). — *Знамя*, 1987, № 1.
- В деревне (стр. 240). — *Юность*, 1963, № 12.
- Парк и музей ЦДСА (стр. 241). — *ДН*, 1980, № 5.
- «— Дадите пальто без номера?..» (стр. 242). — *Наш современник*, 1991, № 2.
- Консультант в городском саду (стр. 244). — *Знамя*, 1983, № 10.
- «Был печальный, а стал печатный...» (стр. 245). — *Знамя*, 1988, № 1.
- «Было стыдно. Есть мне не хотелось...» (стр. 246). — Там же.
- «Лакирую действительность...» (стр. 247). — *НМ*, 1987, № 10.
- «Те стихи, что я написал и забыл...» (стр. 248). — Печ. впервые.
- Рубикон (стр. 249). — *БЗ. Смирнов* — С. С. Смирнов (1915—1976), советский писатель-документалист.
- Прозаики (стр. 251). — *Лит. Грузия*, 1962, № 6. *Артем Веселый, Исаак Бабель, Иван Катаев, Александр Лебеденко* — советские прозаики, репрессированные в 30-х годах. Из них вернулся живым лишь А. Г. Лебеденко, одним из первых рассказавший Слуцкому о лагерном существовании.
- Чапушки (стр. 252). — *Известия*, 1988, 9 сент.
- Лопаты (стр. 253). — *Знамя*, 1988, № 1.
- Идеалисты в тундре (стр. 254). — *Собеседник (Горизонт)*, 1988, № 2. *Томисты, гегельянцы, платоники* — представители различных философских учений. *Тэтэ* — пистолет марки ТТ.
- Из нагана (стр. 256). — *Волга*, 1989, № 10.
- «Дети врагов народа...» (стр. 257). — *Дон*, 1988, № 4.
- Подлесок (стр. 258). — *Семья*, 1988, № 45.
- Пересуд («Даже дело Каина и Авеля...») (стр. 259). — *Знамя*, 1988, № 1. *Дело Каина и Авеля* — убийство Авеля, сына Адама,

первого человека на Земле, созданного Богом, его братом Каином (по библейскому сказанию). *Книга Бытия* — первая книга Ветхого Завета.

«Слишком юный для лагеря...» (стр. 260). — Калининград. комсомолец, 1988, 5 нояб. *Конвент* — представительный орган во время Великой французской революции 1789—1793 гг. *Якобинцы и всяческие жирондисты* — политические фракции в Конвенте.

Рука (стр. 261). — Знамя, 1988, № 1.

Прощание («Добро и Зло сидят за столом...») (стр. 263). — Там же.

Дальний Север (стр. 264). — Север, 1988, № 4.

Отложенные тайны (стр. 265). — Волга, 1988, № 8.

«Вопросы, словно в прошлом веке...» (стр. 266). — Печ. впервые.

«Идет словесная, но честная...» (стр. 267). — Печ. впервые.

«Как лучше жизнь не дожить, а прожить...» (стр. 268). — ЛГ, 1962, 24 нояб.

Темпераменты (стр. 269). — БЗ.

«Ванька-встанька — самый лучший Ванька...» (стр. 270). — Печ. впервые.

«Мы, пациенты, мы, пассажиры...» (стр. 271). — Печ. впервые.

«Ведомому неведом...» (стр. 272). — ДН, 1985, № 7, *Допнаек* — дополнительный писк, полагавшийся офицеру Красной (Советской) армии во время Великой Отечественной войны.

«Все-таки стоило кашу заваривать...» (стр. 273). — Лит. Грузия, 1985, № 2.

«Значит, можно гнуть. Они согнутся...» (стр. 274). — ДН, 1987, № 6.

«Активная оборона стариков...» (стр. 275). — Знамя, 1988, № 1.

«Свобода не похожа на красавиц...» (стр. 276). — Лит. Азербайджан, 1989, № 10.

«Справедливость — не приглашают...» (стр. 277). — Звезда, 1982, № 6.

Герой (стр. 278). — БСП. Явным поводом к написанию стихотворения послужило самоубийство А. А. Фадеева в мае 1956 г.

«Все то, что не додумал гений...» (стр. 279). — Калининград. комсомолец, 1988, 5 нояб. Заключительная строфа — цитата из «Интернационала» Э. Потье, гимна Коммунистической партии.

Памятник Достоевскому (стр. 281). — Знамя, 1989, № 3.

«Место государства в жизни личности...» (стр. 282). — БСП, *Лишние — в неделю — два часа* — одним из первых

послаблений послесталинского времени было уменьшение рабочего дня в субботу (тогда была шестидневная рабочая неделя) на 2 часа.

«Два года разговоров, слухов...» (стр. 283). — Печ. впервые.

«У государства есть закон...» (стр. 284). — Городское хозяйство Москвы, 1988, № 7.

«Вот что скажут потомки...» (стр. 285). — Печ. впервые.

«Трагедии, представленной в провинции...» (стр. 286). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2.

Ребенок для очередей (стр. 287). — Семья, 1988, № 45.

«Усталость проходит за воскресенье...» (стр. 288). — БСП.

«Счастье—это круг. И человек...» (стр. 289). — Неделя, 1985, № 1.

«Всяк по-своему волнуется...» (стр. 290). — Печ. впервые.

«Темный, словно сезонник...» (стр. 291). — СМ, 1990, № 8.

«Я переехал из дома писателей...» (стр. 292). — Печ. впервые.

«Словно ворот...» (стр. 293). — Печ. впервые.

Домик погоды (стр. 294). — СРЛ. *Шестнадцатого октября сорок первого, плохого года* — день, когда Москву охватила ужасная паника перед предстоящим наступлением гитлеровских армий. *Достаю пятьдесят третий год — про погоду в январе читаю.* — В январе 1953 г. началась антисемитская газетно-журнальная пропагандистская кампания, связанная с известным «делом врачей».

«В звуковое кино не верящие...» (стр. 296). — Работа.

«Еврейским хилым детям...» (стр. 297). — Год за годом. Литературный ежегодник. Вып. 5. М., Сов. писатель, 1989.

«Романы из школьной программы...» (стр. 298). — НМ, 1987, № 10.

Самодвижение искусства (стр. 299). — Печ. впервые. *Малявин Ф. А. (1869—1940), Борисов-Мусатов В. Э. (1870—1905)* — русские художники.

Чердак и подвал (стр. 300). — Печ. впервые.

«Я в первый раз увидел МХАТ...» (стр. 301). — Театр, 1988, № 1. «Дни Турбиных» — пьеса М. А. Булгакова, по которой был поставлен знаменитый спектакль МХАТа.

«Хорошо или плохо...» (стр. 302). — Печ. впервые.

«От копеечной свечи Москва сгорела...» (стр. 304). — Печ. впервые. *Галилея* — область в древнем Иерусалимском государстве, родина Иисуса Христа.

«Уменья нет сослаться на болезнь...» (стр. 306). — Знамя, 1988, № 1.

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА (1961)

Первоначальное название этой книги было — «Человек»; оно осталось названием первого раздела книги и сказалось как в названиях некоторых стихотворений, так и в содержании первых ее трех разделов: «Человек», «Лирики», «Общежитие»; четвертый раздел — «Вчера» — на три пятых был сложен из стихов, входивших в предшествующие книги. Изменить название Слуцкого заставил одновременный выход одноименной книги литовского поэта Э. Межелайтиса, в переводе которой Слуцкий принимал активное участие: возглавлял коллектив переводчиков, сам перевел многие ее стихотворения, осуществлял общую редакцию перевода, многое сделал для пропаганды этой книги, в следующем, 1962 году получившей Ленинскую премию.

Книга «Сегодня и вчера» четко обозначила переход Слуцкого к отражению в своем творчестве текущей современности. Не случайно стихи о войне, стихи о прошлом отошли в ней на второй план. В какой-то степени она отразила в себе то, что сам автор чуть позже назвал «запланированной неудачей»: действительность, обстающая его, не легко, не просто входила в стихи, и он это предвидел. Тем не менее решительно пошел на это, не желая останавливаться на эксплуатации старых тем и приемов.

Подписанная к печати в июне 1961 года и вышедшая в конце его, книга была воспринята читателями и критикой довольно ровно, не вызвав ни особой хулы, ни особой хвалы. Тем не менее сравнительно большой тираж обоих ее изданий (второе вышло через год с небольшим) — 35 000 экз. — разошелся мгновенно: имя поэта уже было на слуху у многочисленной тогда читающей поэзию публики.

Человек («То не станция Бологое...») (стр. 309). — Лит. Грузия, 1961, № 1.

С л а в а («Газета пришла про соседа...») (стр. 310). — *СВ*. В тексте отсутствовала 5-я строфа и было изменено начало 6-й, где говорилось о том, что герой стихотворения был репрессирован. Полностью печ. впервые.

К а д р ы — е с т ь! (стр. 311). — *ЛГ*, 1960, 8 окт.

В с о р о к л е т (стр. 312). — Лит. Грузия, 1961, № 1.

Человек с книгой (стр. 313). — *Знамя*, 1960, № 12.

Преимущества старости (стр. 314). — *Тар. стр.*

Предупреждение (стр. 315). — *СВ*.

«Надо думать, а не улыбаться...» (стр. 316). — *Тар. стр.*

«Как лица удивительны...» (стр. 317). — *СВ*. В первоначальном варианте вместо 2-й и 3-й строф было:

Как светоносны взгляды
У встреченных в пути.

Красавцев — мириады,
Уродов нет почти.

Газеты (стр. 318). — Знамя, 1960, № 12.

«Я люблю стариков, начинающих снова...»
(стр. 319). — *СВ*. Позже было перепечатано: МГ, 1966, № 1 — с 3-й строфой:

Только им, старикам, не потребно пособий—
С их особой судьбой и закалкой особой.
Не берут
И не просят,
А сами дают.
Упадут,
Полежат,
Покряхтят
И встают!

Гурзуф (стр. 320). — *ЛГ*, 1960, 16 авг., без 6-й строфы. Полностью впервые: *БСП*.

«Куда стекает время...» (стр. 322). — Неделя, 1961, № 34.

«Деление на виды и на роды...» (стр. 323). — *СВ*.

«Я не хочу ни капли потерять...» (стр. 324). — Знамя, 1959, № 9.

На выставке детских рисунков (стр. 325). — Там же, без четверостишия, начинающегося строкой «Правдиво рисуются люди». Полностью впервые: *БЗ*.

Пушкинская палка (стр. 327). — *СВ*. Кажется, первое стихотворение Слуцкого, в котором возникает обращение к личности Пушкина. Впоследствии это все более будет становиться постоянной темой Слуцкого.

Поэты «Правды» и «Звезды» (стр. 328). — Сов. Литва, 1959, 29 нояб.

Художник (стр. 329). — *СВ*.

«Широко известен в узких кругах...» (стр. 330). — *Тар. стр.* Бытует рассказ о том, как Слуцкий благодаря кому-то из своих однокашников по юридическому институту ознакомился со своим «досье» в «компетентных органах», одна из «дружеских» характеристик 40-х годов, находившихся там, начиналась фразой: «Широко известен в узких кругах».

«Маска Бетховена на ваших стенах...» (стр. 331). — *СВ*.

«Хранители архивов (и традиций)...» (стр. 332). — *СВ*.

Н. Н. Асеев за работой (стр. 333). — *ВЛ*, 1961, № 6. Слуцкий и Н. Н. Асеев (1889—1963) были связаны большой дружбой и многими общими интересами: вместе помогали на первых порах молодому Андрею Вознесенскому, отстаивали от несправедливой

критики ленинградского поэта Виктора Соснору. Н. Н. Асееву посвящены также Слуцким стихотворение «На смерть Асеева» (т. 2 наст. изд.), статья «Созидатель» (ЛГ, 1959, 27 июня) и статья-воспоминание «Мне никогда не будет сорок!» (Юность, 1969, № 9).

«Умирают мои старики...» (стр. 334). — ЛГ, 1961, 27 мая. В СВ и последующих изданиях печ. без последней строфы.

«Перевожу с монгольского и с польского...» (стр. 335). — ЛГ, 1960, 16 авг., под заглавием «Переводы». Переводческая деятельность Слуцкого, начавшаяся по инициативе Л. А. Озерова в самом конце 40-х годов и продолжавшаяся всю его творческую жизнь, была очень напряженной и плодотворной: им переведены сотни поэтов, тысячи стихотворений. Луи Арагон называл его лучшим переводчиком своих стихов. Особенное значение в деятельности Слуцкого-переводчика имеют переводы Б. Брехта, Н. Хикмента, польской поэзии.

«Я перевел стихи про Ильича...» (стр. 336). — ЛГ, 1961, 4 нояб.

Назым (стр. 337). — ЛГ, 1961, 27 мая. Турецкому поэту и драматургу Н. Хикмету (1902—1963), с которым Слуцкий дружил, стихи и поэмы которого переводил, посвящена также статья «Памяти брата» (Пионер, 1967, № 8).

О Л. Н. Мартынове (стр. 338). — ВЛ, 1961, № 6. В рукописи стихотворение заканчивается следующей строфой:

Поэзия — не бытие — сознание.
Мартынов — не человек — поэт.
Это — его форма и его содержание.
А сверх у него — ничегошеньки нет.

Слуцкого и Л. Н. Мартынова (1905—1980) связывала многолетняя тесная дружба. Уже будучи тяжелобольным, Слуцкий в июне 1980 г. все же пришел проводить своего старшего собрата. Мартынову посвящены также стихотворения Слуцкого «Мартынов в Париже» (Знамя, 1989, № 3) и «Мартынов покупает два билета...» (незаконченное).

«Снова стол бумагами завален...» (стр. 339). — СВ.

Ксения Некрасова (стр. 340). — ЛГ, 1961, 27 мая. К. А. Некрасовой (1912—1958), замечательной поэтессе, стихи которой Слуцкий высоко ценил, посвящено также стихотворение «Какие лица у поэтов!» (т. 2 наст. изд.).

Русский язык (стр. 341). — СВ.

«Хорошо, когда хулят и хвалят...» (стр. 342). — Лит. Грузия, 1961, № 1.

«Поэтический язык — не лютеранская обедня...» (стр. 343). — СВ.

«Поэт не телефонный...» (стр. 344). — Знамя, 1960, № 12.

Правильное отношение к традициям (стр. 345). —

Театральная жизнь, 1960, № 6. В рукописи стихотворение заключает строфа:

И горе глупым, смирным и покорным,
Не жаром дорожащим,
А золой.
Они усердно врылись в землю корнем,
Но листья не поднимут над землей.

Творческий метод (стр. 346). — *Тар. стр.*

Советы начинающим поэтам (стр. 347). — *ЛГ*, 1960, 16 авг.

Броненосец «Потемкин» (стр. 348). — *СВ*, с измененной 1-й строфой, которая в настоящем своем виде уже была известна читателям по цитации в статье И. Г. Эренбурга о поэзии Слуцкого. Неискаженный текст впервые: *БСП*.

«Похожее в прозе на ерунду...» (стр. 349). — *Знамя*, 1960, № 12.

Читатель отвечает за поэта (стр. 350). — *ЛГ*, 1960, 16 авг. Полный текст впервые: *БСП*.

Физики и лирики (стр. 351). — *ЛГ*, 1959, 13 окт. Одно из самых знаменитых стихотворений Слуцкого, вызвавшее небывалое количество откликов, аukaющеся и сегодня. Об обстоятельствах создания и бытования стихотворения рассказано в работе Слуцкого «К истории моих стихотворений» (*ВЛ*, 1989, № 10, с. 195—197).

Чудеса (стр. 352). — *ФиС*, 1962, № 1.

Окраина (стр. 353). — *Знамя*, 1960, № 1.

Старухи и старики (стр. 354). — *Тар. стр.*, под заглавием «Старухи без стариков». В *СВ* без заглавия. Посвящение Вл. Сякину, партийному и издательскому работнику, редактору книг Слуцкого «Время» и «Сегодня и вчера», появилось впервые: *Память—69*.

«Комната кончалась не стеной...» (стр. 355). — *СВ*.

Старый дом (стр. 356). — *СВ*.

«На двадцатом этаже живу...» (стр. 358). — *Тар. стр.*

«Хлеба — мало. Комнаты — мало...» (стр. 359). — *ЛГ*, 1960, 16 авг.

Деревья и мы (стр. 360). — *Знамя*, 1959, № 9.

«Я учитель школы для взрослых...» (стр. 362). — *Знамя*, 1960, № 1.

«Высоко он голову носил...» (стр. 363). — *ДП*, 1960, под заглавием «Друг». В стихотворении говорится о М. В. Кульчицком.

Товарищ («Лозунг времени «Надо так надо!»...)» (стр. 364). — *СВ*.

Иваны (стр. 365). — *Лит. Грузия*, 1961, № 1.

Немецкие потери (стр. 367). — *Тар. стр.*, под заглавием «Рассказ солдата».

Солдатам 1941-го (стр. 369). — ЛГ, 1961, 27 мая.

1945 год (стр. 370). — СВ.

Воспоминание (стр. 371). — Знамя, 1959, № 9. В рукописи стихотворение заключается следующей строфой:

Я хочу быть умным и сильным —
Этот стих я три года строгал,
Чтобы он
 не камнем могильным,
А как надпись в альбоме звучал.

Начавшееся в 60-х годах постепенное охлаждение читателей к поэзии Слуцкого было неправомерным, но объяснимым. Не в последнюю очередь оно было вызвано тем, что до читателей доходила только часть написанного поэтом. На самом деле, «запланированная неудача», о которой говорил Слуцкий, была не такой уж большой и долгой. В творчестве его конца 50-х — начала 60-х годов было множество стихотворений, в которых автору удавалось нащупывать нервные узлы, драматические точки современности. Но эти-то, обычно самые удачные произведения поэта и не доходили до печатных станков, лишь в лучшем случае в некотором количестве попадали в самиздат, распространяясь машинописным и рукописным образом. Вспоминается сказанное однажды Слуцким: «Среднему поэту легче напечататься, чем хорошему, а у хорошего поэта больше шансов напечатать свои средние стихотворения, нежели отличные». Эта чеканная и точная формулировка, это грустное правило было основано не только на собственном опыте, но в том числе и на нем.

Стихотворения 1959, 1960, 1961 годов, как и предыдущих, во множестве оставались в ящиках рабочего стола. Лишь некоторые из тех, что не вошли в книги, попадали в периодические издания, где оседали и забывались. Лишь в последние годы стихи из этого массива постепенно выходят на свет.

«На том пути в Москву из Граца...» (стр. 373). — Юность, 1989, № 6. Грац — город в Австрии, в нем Слуцкий встретил конец войны.

Песня (стр. 375). — Там же. Эпиграф взят из стихотворения «На полустанке» (1956) Д. С. Самойлова (1920—1990), с которым Слуцкий был знаком и дружен с 1939 г., когда они оба входили в большую компанию молодых московских поэтов.

Футбол (стр. 376). — Тар. стр.

Разные измерения (стр. 378). — Судьба.

«Палатка под Серпуховом. Война...» (стр. 379). — Знамя, 1988, № 1. Он смотрел Хасан, Халхин-Гол смотрел. — Имеется в виду участие старшины в военных конфликтах с японской армией у озера Хасан и в Монголии в 30-х годах.

«На спину бросаюсь при бомбежке...» (стр. 380). — *СРЛ*.

Р К К А (стр. 381.) — ЛГ, 1964, 20 июня, А. И. Егоров (1883 — 1939), М. Н. Тухачевский (1893—1937), В. М. Примаков (1897—1937), — крупные советские военачальники, уничтоженные в конце 30-х годов, незадолго до Великой Отечественной войны.

«Он просьбами надоедал...» (стр. 382). — Знамя, 1987, № 1.

«Вот — госпиталь. Он — полевой, походный...» (стр. 383). — Неделя, 1987, № 7.

«Мои товарищи по школе...» (стр. 384). — Печ. впервые. *Иная им досталась доля* — иронически переосмысленная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

«Вы — гонщики, а мы — шоферы...» (стр. 385). — Печ. впервые.

Бесплатная снежная баба (стр. 386). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2.

«Невоевавшие военные...» (стр. 387). — Печ. впервые.

Длинные разговоры (стр. 388). — *СМ*, 1963, № 2.

«Отягощенный родственными чувствами...» (стр. 390). — *Работа*.

«Земля, земля — вдова солдата...» (стр. 391). — Волга, 1988, № 8.

Наши (стр. 392). — Юность, 1987, № 11.

Месяц — май (стр. 394). — Знамя, 1987, № 1.

«Когда совались между зверем...» (стр. 396). — *БСП*.

Председатель класса (стр. 397). — Учительская газ., 1964, 15 авг.

«Как говорили на Конном базаре?..» (стр. 398). — Нева, 1982, № 7. *Слово Даниила Заточника*. — Имеются в виду памятки древнерусской литературы «Слово Даниила Заточника» (XII в.) и «Моление Даниила Заточника» (XIII в.).

«Первый доход: бутылки и пробки...» (стр. 400). — *СРЛ*.

18 лет (стр. 401). — Юность, 1965, № 2.

Молодость (стр. 402). — Труд, 1963, 6 янв.

Сороковой год (стр. 403). — *ГС*. Но Павел вдруг торжественно встает. — Павел Коган.

Кульчицкий («Васильки на засаленном ворота...») (стр. 405). — ЛГ, 1983, 28 сент., без 4-й строфы. Полностью печ. впервые.

Орфей (стр. 406). — *СРЛ*.

«Когда мы вернулись с войны...» (стр. 410). — Знамя, 1988, № 1.

- «Интеллигенты получали столько же...» (стр. 411). — *ДН*, 1987, № 6.
- Терпенье («Сталин взял бокал вина...») (стр. 412). — *Огонек*, 1988, № 17. Имеется в виду тост, произнесенный И. В. Сталиным на приеме по поводу Парада Победы 24 июня 1945 г.
- «Нам черное солнце светило...» (стр. 413). — *Собеседник* (Горизонт), 1988, № 2.
- «Я рос при Сталине, но пристально...» (стр. 414). — *Смена*, 1965, № 3, без 17 — 20-й строк. Полностью впервые: *БСП*. Звуковое кино (стр. 415). — *Искусство кино*, 1989, № 5.
- «Государь должны государить...» (стр. 416). — *БСП*.
- «Списки расправ...» (стр. 417). — *БСП*.
- «Проводы правды не требуют труб...» (стр. 418). — *НМ*, 1987, № 10.
- «Вынимаются книжки забытые...» (стр. 419). — *Собеседник* (Горизонт). 1988, № 2.
- Мошкá (стр. 420). — *БСП*.
- Новая квартира (стр. 422). — *Юность*, 1962, № 2.
- «То лето, когда убивали водителей многих такси...» (стр. 423). — *БСП*. Имеется в виду время после «ворошиловской» амнистии (см. примеч. к стих. «Дом в переулке»), когда было отпущено на свободу множество уголовников-рецидивистов. *П. Н. Филонов* (1883—1941) — советский художник-авангардист, картины которого долгие годы не выставлялись.
- Современник (стр. 424). — *Вперед* (Загорск), 1988, 26 марта.
- «На краю у ночи, на опушке...» (стр. 425). — *Печ. впервые*.
- «Суббота. Девки все разобраны...» (стр. 426). — *Звезда*, 1982, № 6.
- «Песню крупными буквами пишут...» (стр. 427). — *МК*, 1988, 27 марта.
- Проба (стр. 428). — *БО*.
- Вася с Булей (стр. 430). — *Пионер*, 1990, № 11.
- «Сорок сороков сорокалетних...» (стр. 432). — *Лит. Грузия*, 1985, № 2.
- Моральный износ (стр. 433). — *Судьба*.
- Улучшение анкет (стр. 434). — *БСП*.
- «Доносов не принимаю!...» (стр. 435). — *Сов. Татария*, 1989, 28 окт.
- «Когда эпохи идут на слом...» (стр. 436). — *Знамя*, 1988, № 1.
- «Надо, чтобы дети или звери...» (стр. 437). — *Семья*, 1988, № 45.
- Сон («Как дерево стареет и устаёт металл...») (стр. 438). — *БК*.

- «У людей — дети. У нас — только кактусы...» (стр. 439). — Знамя, 1988, № 1.
- «Генерала легко понять...» (стр. 440). — Юность, 1987, № 11 с пропущенной строкой. Полностью: *БСП*.
- «Товарищ Сталин письменный...» (стр. 442). — *БСП*.
О прямом взгляде (стр. 443). — Известия, 1988, 9 сент.
- «Виноватые без вины...» (стр. 444). — Октябрь, 1988, № 2.
- «Художнику хочется, чтобы картина...» (стр. 445). — Собеседник (Горизонт), 1988, № 2.
- «Поэты малого народа...» (стр. 446). — Знамя, 1988, № 1. *К. Ш. Кулиев* (1917—1985) — балкарский советский поэт.
- «Шуба выстроена над калмыком...» (стр. 447). — Там же. В основе стихотворения — судьба калмыцкого поэта *Д. Н. Кугультинова*, репрессированного вместе со своим народом.
- «Бывший кондрашка, ныне инсульт...» (стр. 448). — Там же.
- «Подумайте, что звали высшей мерой...» (стр. 449). — Городское хозяйство Москвы, 1988, № 7.
- «Быка не надо брать за бока...» (стр. 450). — *МГ*, 1963, № 1.
- Как только взяться (стр. 451). — Юность, 1987, № 11.
- «Свобода совести непредставима...» (стр. 452). — *БСП*.
- Время все уладит (стр. 453). — Крестьянка, 1987, № 9.
- «Пропускайте детей до шестнадцати лет...» (стр. 454). — Печ. впервые.
- «Учитесь, дети, книги собирать...» (стр. 455). — Вечерний Харьков, 1989, 19 дек.
- Полезность чтения (стр. 456). — Печ. впервые.
- «Я когда был возраста вашего...» (стр. 457). — Знамя, 1988, № 1.
- Русский спор (стр. 458). — *Судьба*.
- Физики и люди (стр. 459). — *СМ*, 1986, № 1.
- «На том стоим!..» (стр. 460). — Наш современник, 1991, № 2.
- «Есть ли люди на других планетах?..» (стр. 461). — Печ. впервые.
- Такая эпоха (стр. 462). — *БЗ*.
- Первый век (стр. 463). — Неделя, 1985, № 1.
- «Двадцатые годы, когда все были...» (стр. 464). — *БСП*.
- «Ставлю на через одно поколение...» (стр. 465). — Знамя, 1988, № 1.
- Без претензий (стр. 466). — *Память* — 69, 7—11 строфа без заглавия. Полностью и с заглавием впервые: *БСП*.

Углы (стр. 468). — Нева, 1989, № 5.

Пощечина (стр. 470). — БСП.

Ода случаю (стр. 471). — МК, 1988, 27 марта.

Жизнь (стр. 473). — Печ. впервые.

Как я снова начал писать стихи (стр. 474). — МК, 1984, 30 сент.

«Начинается длинная, как мировая война...» (стр. 476). — Знамя, 1965, № 2, с искажениями. Восстановленный текст впервые: БСП.

«Я был умнее своих товарищей...» (стр. 477). — БЗ.

«Мне первый раз сказали: «Не болтай!...» (стр. 478). — Знамя, 1988, № 1.

«Твоя тропа, а может быть, стезя...» (стр. 479). — Сов. Татария, 1989, 28 окт.

«Поэзия — не мертвый столб...» (стр. 480). — Лит. Грузия, 1961, № 1.

«Как незасыпанный окоп...» (стр. 481). — Лит. Грузия, 1962, № 6.

Читательские оценки (стр. 482). — Юность, 1986, № 8.

«На экране — безмолвные лики...» (стр. 483). — Сов. экран, 1961, № 17, первые 12 строк. В *Тар. стр.* к ним были добавлены следующие строки, заменяющие подлинный финал:

Мы, судившие так сурово
Свой талант,
 горды, что народ
Говорит иногда наше слово,
Повторяет
 наш оборот.

Неисказенно и полностью впервые: БСП.

Шестое небо (стр. 484). — Простор, 1965, № 12, без 5-й строфы. Полностью впервые: СРЛ.

Это правда (стр. 485). — НМ, 1978, № 1. Краснозаводской район — район Харькова, в котором жили Слуцкие.

«Актеры грим смыывают...» (стр. 486). — ДП, 1985.

«Сосредоточусь. Силы на прягу...» (стр. 487). — Знамя, 1989, № 3.

Как мог (стр. 488). — ЛО, 1988, № 6.

«И положительный герой...» (стр. 489). — Альманах «Апрель», вып. 2, М., 1990.

«Как испанцы — к Америке...» (стр. 490). — Печ. впервые.

«Стояли сосны тесно...» (стр. 491). — Печ. впервые.

«Не особый талант пророчества...» (стр. 492). — Печ. впервые.

«Маловато думал я о боге...» (стр. 493). — БСП.

«Народ за спиной художника...» (стр. 494). — ЛГ, 1961, 27 мая.

«Все правила — неправильны...» (стр. 495). — ДН, 1987, № 6.

«Я очень мал, в то время как Гомер...» (стр. 496). — Известия, 1988, 9 сент. Последнее двустипшие переосмысляет известное латинское изречение «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Юпитер в древнеримской мифологии соответствует Зевсу в древнегреческой.

«Человечество делится на две команды...» (стр. 497). — ДН, 1987, № 6.

«В свободное от работы время...» (стр. 498). — Сов. Татария, 1989, 21 окт., в составе беседы корреспондента газеты с Ю. Болдыревым.

«Потомки разберутся, но потомкам...» (стр. 499). — Аврора, 1988, № 8.

«Поэты потрясали небеса...» (стр. 500). — БК.

«По кругу Дома творчества...» (стр. 501). — Печ. впервые.

«Разговаривать неохота...» (стр. 502). — БСП.

«Меня не обгонят — я не гонюсь...» (стр. 503). — ДН, 1988, № 11.

«Жалкой жажды славы — не выкажу...» (стр. 504). — Октябрь, 1988, № 2.

«Завяжи меня узелком на платке...» (стр. 505). — Лит. Грузия, 1985, № 2. Заглавие «Тебе» в ДН, 1985, № 7 дано редакцией и Слуцкому не принадлежит.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Болдырев. «Выдаю себя за самого себя...» 5

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Генерал Миаха, наблюдающий переход испанскими войсками французской границы	25
Инвалиды	26
Базис и надстройка	28
Конец (Абрам Шапиро)	29
Золото и мы	31
«Деньги пахнут грозным запахом...»	33
В шесть часов утра после войны	34
Солдат и дорога	35
1942	36
«Я был учеником у Маяковского...»	37
Солдатские разговоры	38
Дорога	39
Перед вещанием	40
Землянка	42
В Германии	43
«Не безымянный, а безыменный...»	44
Комиссары	45
Возвращаем лендлиз	46
Хлеб	47
Современная теория баллады (Лекция)	49
Баллада о трех нищих	51
«Тот день, когда я вышел из больницы...»	52
Про очереди	53
«Нам черный хлеб по карточкам давали...»	54
«Человска нора кочевая...»	55
«Тридцатилетняя женщина...»	56
«Все мелкие мои долги...»	57
«Это — ночью написалось...»	58
«Кто-то рядом слово сказал...»	59

«Я думаю, что следует начать...»	60
«В сорока строках хочу я выразить...»	62
«Чужие люди почему-то часто...»	64
«Про безымянных, про полузабытых...»	66
«...Тяжелое, густое честолюбье...»	67
«Скользили лыжи. Летали мячики...»	69
«В любой библиотеке есть читатели...»	70
«У Абрама, Исака и Якова...»	71
«Почему люди пьют водку?..»	72
Амнистированный	74
«Все скверное — раньше и прежде...»	75
«Я сегодня — шучу...»	76
Человек («Царь природы, венец творенья...»)	77
«Грехи и огрехи...»	78
Ленинская жилищная норма	79
«Ордена теперь никто не носит...»	80

ПАМЯТЬ (1957)

Памятник	83
Кельнская яма	85
Гора	87
Госпиталь	89
Военный рассвет	91
«Последнюю усталостью устав...»	93
«— Хуже всех на фронте пехотел...»	94
Как меня принимали в партию	95
Сон («Утро брезжит...»)	97
Писаря	99
Задача	101
Итальянец	102
О погоде	105
«Я говорил от имени России...»	107
Засуха	108
Мальчишки	110
Перерыв	112
Память	113
Голос друга	114
Глухой	115
Рабочая песня	117
Однофамилец	118
Баня	119
Школа для взрослых	121
Счастье («Словно луг запа́х...»)	123

Три сестры	124
Лошади в океане	126
Зоопарк ночью	128
Гудки	129
Медные деньги	130
Второй этаж	131
Блудный сын	132
С нашей улицы	133
Памяти товарища	134
«Музыка на вокзале...»	135
«Толпа на Театральной площади...»	136

«У офицеров было много планов...»	137
Бухарест	138
«Пред наших танков трепеща судом...»	140
Домой («То ли дождь, то ли снег...»)	141
Фотографии картин, сожженных оккупантами	142
«Туристам показываю показательное...»	143
«Пристальность пытливаю не пряча...»	144
«Я судил людей и знаю точно...»	145
Говорит Фома	146
Квадратики	148
Болезнь	150
Баллада	152
«В поэзии красна изба — углами...»	154
«Я не могу доверить переводу...»	155
М. В. Кульчицкий («Одни верны России...»)	156
Ключ	158
Злые собаки	159
«С Алексеевского рavelина...»	161
«Я строю на песке, а тот песок...»	162
«Все телефоны не подслушаешь...»	163
«А нам, евреям, повезло...»	164
Про евреев	165
В январе	166
Современные размышления	167
«Не пуля была на излете, не птица...»	169
Бог	170
Хозяин	171
«Всем лозунгам я верил до конца...»	172
«Начинается новое время...»	173
«Парторг вылетает четвертым...»	174
Демаскировка	175
«Осознавать необходимость...»	176

Верил?	177
После реабилитации	178
«Ни за что никого никогда не судили...»	180
Беда	181
Комиссия по литературному наследству	182
Одногодки	183
Слава («Художники рисуют Ленина...»)	184
«Если б я был культом личности...»	185
Сон — себе	186
После двоеочия	187
Дом в переулке	189
«Богатые занимают легко...»	190
«Только война закончится...»	191
Счастье («Гривенники, пуговицы...»)	192
Взрослые	193
Счетные работники	194
«Меняю комнату на горницу...»	195
Искусство	196

ВРЕМЯ (1959)

«Ко мне на койку сел сержант-казах..»	199
Декабрь 41-го года	200
Говорит комиссар полка	201
Когда мы пришли в Европу	202
Крылья	206
Из плена	208
Раннее утро	209
Дома!	211
«Я не любил стола и лампы...»	212
«Вот вам село обыкновенное.»	213
Осенний лес	214
В метро	215
«То слышится крик...»	217
Сверстникам	218
Поезда	219
Музыка над базаром	220
Летом	222
«Тушат свет и выключают звуки...»	224
Тополя	225

«Снова нас читает Россия...»	226
«Воссоздать сумею ли, смогу...»	227

«Руку притянув к бедру потуже...»	228
Фунт хлеба	229
Война	230
Воспоминание о журналисте	231
Статья 193 УК (воинские преступления)	232
«Остановился на бегу...»	233
Мост нищих	234
Ростовщики	236
«Определю, едва взгляну...»	238
«Как залпы оббивают небо...»	239
В деревне	240
Парк и музей ЦДСА	241
«— Дадите пальто без номера?..»	242
Консультант в городском саду	244
«Был печальный, а стал печатный...»	245
«Было стыдно. Есть мне не хотелось...»	246
«Лакирую действительность...»	247
«Те стихи, что я написал и забыл...»	248
Рубикон	249
Прозаики	251
Частушки	252
Лопаты	253
Идеалисты в тундре	254
Из нагана	256
«Дети врагов народа...»	257
Подлесок	258
Пересуд («Даже дело Каина и Авеля...»)	259
«Слишком юный для лагеря, слишком старый для счастья...»	260
Рука	261
Прощание («Добро и Зло сидят за столом...»)	263
Дальний Север	264
Отложенные тайшы	265
«Вопросы, словно в прошлом веке...»	266
«Идет словесная, но честная...»	267
«Как лучше жизнь не дожить, а прожить...»	268
Темпераменты	269
«Ванька-встанька — самый лучший Ванька...»	270
«Мы, пациенты, мы, пассажиры...»	271
«Ведомому неведом...»	272
«Все-таки стоило кашу заваривать...»	273
«Значит, можно гнуть. Они согнутся...»	274
«Активная оборона стариков...»	275
«Свобода не похожа на красавиц...»	276
«Справедливость — не приглашают...»	277
Герой	278

«Все то, что не додумал гений...»	279
Памятник Достоевскому	281
«Место государства в жизни личности...»	282
«Два года разговоров, слухов...»	283
«У государства есть закон...»	284
«Вот что скажут потомки...»	285
«Трагедии, представленной в провинции...»	286
Ребенок для очередей	287
«Усталость проходит за воскресенье...»	288
«Счастье — это круг. И человек...»	289
«Всяк по-своему волнуется...»	290
«Темный, словно сезонник...»	291
«Я переехал из дома писателей...»	292
«Словно ворот...»	293
Домик погоды	294
«В звуковое кино не верящие...»	296
«Еврейским хилым детям...»	297
«Романы из школьной программы...»	298
Самодвижение искусства	299
Чердак и подвал	300
«Я в первый раз увидел МХАТ...»	301
«Хорошо или плохо...»	302
«От копеечной свечи Москва сгорела...»	304
«Уменья нет сослаться на болезнь...»	306

СЕГОДНЯ И ВЧЕРА (1961)

Человек («То не станция Бологое...»)	309
Слава («Газета пришла — про соседа...»)	310
Кадры — есть!	311
В сорок лет	312
Человек с книгой	313
Преимущества старости	314
Предупреждение	315
«Надо думать, а не улыбаться...»	316
«Как лица удивительны...»	317
Газеты	318
«Я люблю стариков, начинающих снова...»	319
Гурзуф	320
«Куда стекает время...»	322
«Деление на виды и на роды...»	323
«Я не хочу ни капли потерять...»	324
На выставке детских рисунков	325
Пушкинская палка	327

Поэты «Правды» и «Звезды»	328
Художник	329
«Широко известен в узких кругах...»	330
«Маска Бетховена на ваших стенах . . .»	331
«Хранители архивов (и традиций) . . .»	332
Н. Н. Асеев за работой (<i>Очерк</i>)	333
«Умирают мои старики...»	334
«Перевожу с монгольского и с польского . . .»	335
«Я перевел стихи про Ильича...»	336
Назым	337
О Л. Н. Мартынове (<i>Статья</i>)	338
«Снова стол бумагами завален...»	339
Ксения Некрасова (<i>Воспоминания</i>)	340
Русский язык	341
«Хорошо, когда хулят и хвалят...»	342
«Поэтический язык — не лютеранская обедня...»	343
«Поэт не телефонный...»	344
Правильное отношение к традициям	345
Творческий метод	346
Советы начинающим поэтам	347
Броненосец «Потемкин»	348
«Похожее в прозе на ерунду...»	349
Читатель отвечает за поэта	350
Физики и лирики	351
Чудеса	352
Окраина	353
Старухи и старики	354
«Комната кончалась не стеной...»	355
Старый дом	356
«На двадцатом этаже живу...»	358
«Хлеба — мало. Комнаты — мало...»	359
Деревья и мы	360
«Я учитель школы для взрослых...»	362
«Высоко он голову носил...»	363
Товарищ («Лозунг времени «Надо так надо!»...»)	364
Иваны	365
Немецкие потери (<i>Рассказ</i>)	367
Солдатам 1941-го	369
1945 год	370
Воспоминание	371

«На том пути в Москву из Граца...»	373
Песня	375
Футбол	376

Разные измерения	378
«Палатка под Серпуховом. Война...»	379
«На спину бросаюсь при бомбежке..»	380
РККА	381
«Он просьбами надоедал...»	382
«Вот — госпиталь. Он — полевой, походный...»	383
«Мои товарищи по школе...»	384
«Вы — гонщики, а мы — шоферы...»	385
Бесплатная снежная баба	386
«Невоевавшие военные...»	387
Длинные разговоры	388
«Отягощенный родственными чувствами...»	390
«Земля, земля — вдова солдата...»	391
Наши	392
Месяц — май	394
«Когда совались между зверем...»	396
Председатель класса	397
«Как говорили на Конном базаре?..»	398
«Первый доход: бутылки и пробки...»	400
18 лет	401
Молодость	402
Сороковой год	403
Кульчицкий («Васильки на засаленном ворота...»)	405
Орфей	406
«Когда мы вернулись с войны...»	410
«Интеллигенты получали столько же...»	411
Терпенье («Сталин взял бокал вина...»)	412
«Нам черное солнце светило...»	413
«Я рос при Сталине, но пристально...»	414
Звуковое кино	415
«Государь должны государить...»	416
«Списки расправ...»	417
«Проводы правды не требуют труб...»	418
«Вынимаются книжки забытые..»	419
Мошкá	420
Новая квартира	422
«То лето, когда убивали водителей многих такси...»	423
Современник	424
«На краю у ночи, на опушке...»	425
«Суббота. Девки все разобраны...»	426
«Песню крупными буквами пишут...»	427
Проба	428
Вася с Булей	430
«Сорок сороков сорокалетних...»	432
Моральный износ	433

Улучшение анкет	434
«Доносов не принимают!..»	435
«Когда эпохи идут на слом...»	436
«Надо, чтобы дети или звери...»	437
Сон («Как дерево стареет и устает металл...»)	438
«У людей — дети. У нас — только кактусы...»	439
«Генерала легко понять...»	440
«Товарищ Сталин письменный...»	442
О прямом взгляде	443
«Виноватые без вины...»	444
«Художнику хочется, чтобы картина...»	445
«Поэты малого народа...»	446
«Шуба выстроена над калмыком...»	447
«Бывший кондрашка, ныне инсульт...»	448
«Подумайте, что звали высшей мерой...»	449
«Быка не надо брать за бока...»	450
Как только взяться	451
«Свобода совести непредставима...»	452
Время все уладит	453
«Пропускайте детей до шестнадцати лет...»	454
«Учитесь, дети, книги собирать...»	455
Польза чтения	456
«Я когда был возраста вашего...»	457
Русский спор	458
Физики и люди	459
«На том стоим!..»	460
«Есть ли люди на других планетах?..»	461
Такая эпоха	462
Первый век	463
«Двадцатые годы, когда все были...»	464
«Ставлю на через одно поколение...»	465
Без претензий	466
Углы	468
Пощечина	470
Ода случаю	471
Жизнь	473
Как я снова начал писать стихи	474
«Начинается длинная, как мировая война...»	476
«Я был умнее своих товарищей...»	477
«Мне первый раз сказали: «Не болтай!»...»	478
«Твоя тропа, а может быть, стезя...»	479
«Поэзия — не мертвый столб...»	480
«Как незасыпанный окоп...»	481
Читательские оценки	482
«На экране — безмолвные лики...»	483

Шестое небо	484
Это правда	485
«Актеры грим смывают...»	486
«Сосредоточусь. Силы напрягу...»	487
Как мог	488
«И положительный герой...»	489
«Как испанцы — к Америке...»	490
«Стояли сосны тесно...»	491
«Не особый талант пророчества...»	492
«Маловато думал я о боге...»	493
«Народ за спиной художника...»	494
«Все правила — неправильны...»	495
«Я очень мал, в то время как Гомер...»	496
«Человечество делится на две команды...»	497
«В свободное от работы время...»	498
«Потомки разберутся, но потомкам...»	499
«Поэты потрясали небеса...»	500
«По кругу Дома творчества...»	501
«Разговаривать неохота...»	502
«Меня не обгонят — я не гонюсь...»	503
«Жалкой жажды славы — не выкажу...»	504
«Завяжи меня узелком на платке...»	505
Примечания	506

Слуцкий Б. А.

- С. 49 Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. Стихотворения 1939—1961/Вступ. ст., сост. с науч. подгот. текста, коммент. Ю. Болдырева. — М.: Худож. лит., 1991. — 542 с.

ISBN 5—280—01614-4 (Т. 1)

Первый том Собрания сочинений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919—1986) открывается разделом «Из ранних стихов», включающим произведения 30-х — начала 50-х годов. Далее представлены стихотворения из книг «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), а также стихотворения 1953—1961 гг., не входящие в книги.

**Борис Абрамович
СЛУЦКИЙ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ**

Заведующая редакцией *В. Канунникова*

Редактор *В. Пальчиков*

Художественный редактор *Е. Ененко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректор *И. Лебедева*

ИБ № 6295

Сдано в набор 05.09.90. Подписано в печать 25.02.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56+вкл.=28,61. Усл. кр.-отт. 28,61. Уч.-изд. л. 18,78+вкл.=18,83. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-2916. Заказ № 655. Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Владимирская типография Госкомпечати СССР
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

